С. Р. МИНЦЛОВ

# СВЯТЫЕ ОЗЕРА



1970

С. Р. МИНЦЛОВ

# СВЯТЫЕ ОЗЕРА

(НЕДАВНЕЕ)



Вашингтон, Изд. Русского книжного дела в США
Victor Kamkin, Inc.

1970

Книга отпечатана в количестве 2500 экземпляров

Адрес книжного магазина:
Víctor Kamkin Inc.
2906 Columbia Road N.W.
Washington, D.C. 20009 U.S.A.

*Printed in Spain*

Depósito legal: M. 22.394 - 1970

Отпечатано в типографии:

Impreso en Talleres Gráficos de «Ediciones Castilla» - Maestro Alonso, 23

# СВЯТЫЕ ОЗЕРА

## Недавнее

### Глава 1

Глух и дик спокон веку Арзамасский уезд.

Темны безоглядные леса его, круты красные обрывы оврагов; по сыпучим пескам, либо по глине, тащатся пустынные дроги.

Население редкое, большей частью старообрядческое; встречные одеты во все белое; поклонятся — на темячках, как у ксендзов, увидишь гуменца.

Хлебопашеством в уезде не прокормиться и земля обрабатывается только местами; на лето население целыми деревнями отправляется в Сибирь на золотые прииски.

Немного было перед Великой войной в уезде и помещиков. Те, что владели огромными латифундиями, никогда не заглядывали в них, вроде Пашковых; другие не могли поддерживать былого великолепия усадеб, запутались в долгах и опустились; все, что способно было служить, или пробить себе дорогу в жизни — ушло в столицы.

Славился когда-то уезд разбоями; леса и близость

Волги делали шайки неуловимыми; грозная память еще смотрит из глуби многих оврагов.

Охотнику здесь раздолье необыкновенное: дичь какая угодно водится в изобилии! Особенно много ее на Святых Озерах — голубых клочках неба, цепью тянущихся верст на тридцать.

Один из местных помещиков — молодой Дверев — предложил мне поохотиться с ним по уезду и заглянуть к местным столпам отечества.

Я согласился.

Дверев походил на маленького, задорного петушка; был курнос, с чуть загнутыми вперед, словно настороженными ушами, со светлым коком над узеньким лбом, маленькие усики его были подстрижены; говорлив был необыкновенно и мог, не закрывая рта, трещать с зари до зари веселую чушь; вечно болтался по уезду и, не зная что с собой делать, всюду учинял разные кунштюки. Малый был общительный, веселый и остроумный. Поездка с ним обещала быть интересной.

В один из августовских дней прочная «казанка» наша загремела колесами по деревянному мосту через реку Тешу; охватило запахом конского пота; в глади воды, среди купавок, отразилась бричка с парой сытых мышастых коньков, я и мой белокурый, худенький спутник; гулко и мягко стучали копыта.

Мы и наши двойники в воде оглянулись назад, на город.

Высокая, обрывистая гора... Над ней венец из золотых крестов и глав тридцати белых, желтых и розовых церквей; между ними, среди садов, стадом овец рассыпались домики.

Предание гласит, что во времена Грозного царя на этой горе жили два брата, мордовские царьки, Эрзя

и Мас и сестра их Теша: от их имен и повелось название местности.

А впереди за рекой приволье: на зеленой пойме раскидывается слобода Выездная; во дни Александра Первого она принадлежала графу Зубову.

**
*

Дорога к Озерам ведет почти сплошным лесным морем; куда ни глянь — везде бор!... Золотая пыль солнца наполняет его; дышишь смолой... жарко и тихо... чуть слышна молвь неохватных, разомлевших от зноя сосен.

В оврагах свежее: там густая, говорливая зелень берез, ольхи, осин... на все лады щебечат пичуги...

Мы ехали с добрый час, и вдруг словно эоловы арфы мягко зазвучали над нашими головами. Я невольно поднял глаза — сквозь иглы зеленых шапок синело небо; ни арф, ни птиц не примечалось... это знаменитые арзамасские малиновые звоны настигли нас и плыли дальше над миром...

**
*

Вдали над лесом показались окна и часть фронтона большого здания; скоро открылось и все оно — огромное и в то же время воздушное; чуть в стороне от него серело большое село Спасское.

В числе фаворитов Екатерины Второй недолго состоял Бессонов — человек крутой и решительный; за свою службу получил он в подарок от императрицы Спасское и приказ не выезжать из губернии.

Барского дома в пожалованном поместье не было, и отставному вельможе вздумалось, чтобы выстроил его не кто иной, как сам Растрелли.

Знаменитый мастер отказался ехать наотрез; Бессонов сыпнул деньгами; веселая компания подпоила Растрелли, пьяного его уложили в сани и помчали из Петербурга в Нижегородскую губернию; когда дорогой он просыпался, спутники накачивали его снова и мертвым телом доставили в Арзамас. Там он сначала буянил, потом угомонился и дал волю своему таланту; совершилось чудо — среди дремучего леса выросла белая сказка-дворец.

Мы сошли с брички, привязали на пустынном дворе у столба лошадей и направились к дому. Окон и дверей в нем не было — на их местах зияли дыры.

Бароны Розены, во владение которых перешло бездоходное Спасское, не заботились о поддержке дворца; мало-помалу исчезла драгоценная обстановка, потом рамы; прогнила и протекла крыша, лепные алебастровые потолки обвалились и грудами глыб усеяли узорный паркет. Полностью сохранился только один круглый розовый зал с колоннадой; на нее опирались купол и круговые же хоры. Всю стену за колоннами покрывала картина с фигурами в натуральную величину; изображала она Полтавский бой.

Величавая белая лестница широко и полого, с площадками и сквозной каменной балюстрадой по бокам, спускалась с третьего этажа в сумерки вековой кленовой аллеи.

Мы остановились на ступенях. Из щелей их росли лопухи и бурьян; на тоненькой ножке синел одинокий колокольчик; внизу, из зарослей кустов, виднелся полукруг из облупленных, опустелых пьедесталов;

дальше, в аллее, над грудой щебня белели три высоких, тонких колонны — единственное, что уцелело от греческой беседки.

**
*

Бор сменяется мелким березняком; над ним показываются кресты и синие главы церкви села Лопатина. Оно большое, раскиданное; распугивая кур и ребятишек, кони резво несут нас по пыльной, широкой улице; развертывается обширнейшая круглая площадь; среди заросшей травою пустыни ее, на гранитном постаменте высится странный памятник, имеющий вид гроба на ножках.

— Что это такое? — с недоумением спросил я.

— Где?... — в свою очередь удивился мой спутник. — Ах, это?... памятник чей-то... кто-то из Салтыковых, должно быть, под ним лежит... кладбище здесь в старину было!

Я попросил, чтобы Дверев остановил лошадей и вылез из брички.

На саркофаге имелись гербы и надписи, но все были полустерты временем и так замшились, что разобрать что-либо, кроме нескольких слов, было нельзя. Кругом чуть виднелось над землей множество бугорков; в иных местах их заменяли ямы, заполненные крапивой; из одной выглянуло и сладко хрюкнуло рыло свиньи.

Дверев шагом подъехал ко мне.

— Есть стихи на этот памятник! — сказал он, тпрукнув на коней. — И очень недурные...

— А автор их вы? — пошутил я.

— Нет, Володя Мравлин-Штевен, мой приятель сосед, правнук Державина! Стихи с настроением... хотите прочту?

— А вы их знаете наизусть?

— Ну, разумеется: наше ведь, арзамасское... мы патриоты!...

Дверев начал.

«Кто под тобой лежит, забытый саркофаг?
Чье мертвое давно в земле истлело тело?
Кто поразил его? Недуг иль злобный враг?
На поединке ли за честь он умер смело,
На миг доверившись изменчивой судьбе?
Поведай, памятник, кто приносил к тебе
Душистые венки и трепетные розы,
Кто думал над тобой? Чьи проливались слезы
Над крышкой мраморной, украшенной гербом,
Давно исчезнувшим под бархатистым мхом?
Кто мертвый твой жилец? Напыщенный придворный,
Беспечный «столбовой», округи властелин,
Иль Марса гордый жрец, вождь удалых дружин,
Иль франмасон, чудак, искатель беспокойный?
Вокруг тебя теперь раскинулись строенья
Базарного села... На площади пустой
Стоишь ты, памятник-эмблема смерти, тленья
Для множества родов, раздавленных судьбой!
Спи, мертвый дворянин в сырых объятьях гроба,
Оставь страданья нам и смерть благодари:
Не видишь ты теперь, как черни пышет злоба,
И пьяная толпа пятнает алтари,
Как продают гербы бессильные потомки,
Чтоб этим хоть на миг продлить привычный пир,
И обращаются в ненужный хлам, в обломки,
И мрамор царственный и блещущий порфир!...»

Дверев читал нараспев, несколько торжественно, и это, как панихида, соответствовало безлюдью старин-

ного кладбища, тишине, забытым могилам... невольно напрашивалась мысль — а не символ ли близкого грядущего этот саркофаг?

— Вот, как у нас пишут!... — шутливо, но с несомненной гордостью сказал, несколько помолчав, Дверев.

**
*

Дорога опять утонула в березняке; немного спустя она выбежала на опушку; открылись обширные, кочковатые болота; за ними, с довольно высокого взгорья зеленым каскадом спускался сад; в нем темнел многоглазый дом имения Ивашкино.

Слава его старинная, мрачная; когда-то принадлежало оно Салтычихе — известной тиранке над своими крепостными. После суда над ней крестьяне и дворовые разгромили и разграбили усадьбу; уцелели только голые стены; расхищенные же серебро и драгоценности были зарыты неизвестно где и остались неразысканными.

Имение давно перешло к Казаринцевым; владелец его, Николай Дмитриевич, благодаря моему спутнику был более известен всему уезду под именем дяди Коли.

— Если его нет в доме — надо идти в Разбойный овраг, — пояснил Дверев: — это неподалеку от усадьбы, близ большой дороги!

— Да что он там делает?... — изумился я.

— Клады все ищет!... — с усмешкой отозвался Дверев. — Вот уж четверть века ищет он их и ни черта не находит. А клады здесь есть!... — добавил он через минуту: — много их где-то тут позакопано разбойниками!



— Дядя Коля, ау!...

— Ау! — насмешливо отзывается эхо; будто человек прячется в густом, дымчатом, сплошном осиннике и по несколько раз повторяет оклик.

— А-у! — зычно доносится из глубокого провалья оврага. — Кто там?... ползи сюда-а!...

Всюду осины, папортники и, словно кем-то посеянные, тысячи красных грибов... людей никого. Надо спускаться: сход трудный — по крутой промоине, через ямы и рухнувшие глыбы. На дне оврага пробуждается жуткое чувство... по бокам вздымаются отвесные, красноватые стены обрывов; вышина их — высота двух колоколен; вдоль гребней осиновый лес; зелень его уже начала кое-где покрываться золотыми пятнами; солнце лишь в полдень, да и то на минуту, заглядывает в овраг; там вечные сумерки и прохлада, нет ни кустов, ни деревьев; странная трава, превышающая рост человека, покрывает дно; это не трава, это ее привидения, бледные, почти белые.

На небольшом бугорке, нагнувшись над глубоко втиснутым в землю щупом, стоит человек в черном блине-картузе на затылке и в синей рубахе; другой, толстый, сидит на складном стуле, опершись обеими руками на дубинку; на нем белый китель и истрепанная офицерская фуражка. Оба оборачиваются.

Я невольно призадержал шаг — таково первое впечатление, обычно производившееся дядей Колей: передо мной был располневший и обрюзгший император Александр Третий, только более суровый, с черною с проседью бородой, громадный и такой же могучий.

— А, вот кто! Здорово!... — загремела по оврагу иерихонская труба.

Голос у него был железный, говорил властно, отры-

висто: можно было присягнуть, что перед тобой энергичный, непреклонного характера человек. Действительность скоро открылась иная — трудно было сыскать более добродушное, вспыльчивое и доверчивое существо.

Он бывший гусар; служил в Сумском полку и, как полагается настоящему гусару, остался холостяком. Широкая жизнь сильно пошатнула его состояние; в чине ротмистра он вышел в отставку и перебрался в свое Ивашкино. Хозяин он оказался никакой; дом вела и имением управляла его ключница, румяная, кареглазая Анна, что не мешало ему пребывать в глубочайшей уверенности, что все держалось только им одним. Интересовался он лишь двумя вещами на свете — кладоискательством и снами. Он разделял их на вещие и простые, а так как любил «храпнуть», то видел их множество. Летом на основании их дядюшка немедленно отправлялся со своим рабочим Пантелеем на поиски клада; зимой указания снов записывались в календарь, а действия отлагались до схода снега. Ни одного гроша за всю свою жизнь дядюшка не нашел, но это не препятствовало ему продолжать быть преисполненным верой в сны; неудачи свои он объяснял тем, что чего-то не угадал, а если ему возражали, то немедленно вскипал.

— Да коли глуп, коли курнос, так молчи!... — громом начинало раскатываться по всему дому: — на ус мотай, что старшие говорят! Вот найду, да разбогатею — первый прибежишь денег просить!

Разбогатеть — это давнишняя мечта дяди Коли: денежные дела его сделались окончательно плохи, но это не мешало ему оставаться радушным и хлебосольным хозяином.

Мы поздоровались.

— Рад!... Как раз к обеду!... — заявил дядя Коля и поднялся со стула, глубоко вдавившегося под ним в твердую глину. — Пантелей, домой!...

Мы выбрались по другой, более пологой, промоине наверх, в осинник, и направились к усадьбе. Дядюшка шагал крупно; около него, словно белый тютек, вертелся, острил и рассказывал анекдоты Дверев; дядюшка, колыхаясь всем телом, хохотал.

Обед был еще не готов, и в ожидании его мы уселись в комнате неопределенного назначения; такой же вид имели и все остальные, с собранной в них разнородной мебелью; вперемежку с потертыми мягкими стульями из гостиной, находились столы из тяжелого дуба, сундуки, диваны — все старое и изношенное. Оба окна нашей комнаты были распахнуты; занавесок на них никаких не имелось, и солнечный свет беспрепятственно наполнял ее; на когда-то зеленых, теперь бурых, обоях проступали пятна разных размеров.

Дядюшка уселся в крякнувшее, широкое кресло; я со своим спутником поместился у окна; с запущенной клумбы к нам заглядывала пара красных георгинов; на наружном карнизе, распуша хвост, сердито наскакивал на свою подругу голубь и выговаривал — бур-р-рум... бур-р-рум!...

— Да, я забыл вам рассказать, какой удивительный сон я сегодня видел, — обратился Дверев к дяде.

Тот оживился.

— Да ну?... Да что ж сразу не сказал, чушь порол целый час, говори же!

— Вижу я... — начал Дверев: — будто бы стою я вот в этой самой комнате и вдруг прямо из стены появляется старец... седенький такой, согнутый попо-

лам, над головой венчик светится... гляжу во все глаза, а кто такой — не могу вспомнить!...

— Да Серафим это Саровский, не мямли!... — перебил дядя Коля. — Что ж он сказал?

— Ничего не сказал, а только поманил вот эдак... — Дверев согнул несколько раз крючком палец: — и пошел в сад. Я за ним! Он влево по дорожке взял, и я влево... он прямо, и я прямо... он назад, и я назад... он в бок, и я в бок!

— Да пес тебя раздери!... — возопил на весь дом дядя Коля, — да не тяни душу!

— Дядюшка, надо ведь по порядку рассказывать!... — возразил Дверев. — Остановился старец у двойного толстого пня — знаете его?...

— Да знаю, понятно... Дальше!...

— Указал старец перстом на землю под ним и молчит... глядит на меня, и я на него гляжу!

Дядя Коля звучно шлепнул обеими ладонями по поручням кресла и подался всем грузным телом вперед.

— Так я и знал, что там клад!... — воскликнул он. — Да пес ты! Да кончай же, наконец!...

— Поднял преподобный обе ручки... — вдохновенно продолжал мой спутник: — сложил персты вот так... — Дверев неожиданно свернул из пальцев два кукиша и потряс ими перед лицом дяди Коли. У того даже отпала и повисла нижняя губа: — Вот, говорит, вам с дядюшкой клад!... — Дверев с хохотом кинулся бежать.

Рассвирепевший дядя Коля тигром прянул за ним, но запыхался и остановился посредине соседней комнаты.

— Пес тебя раздери... дурак, мальчишка, щенок!... — громом пустил он вслед племяннику. — Попадись

ты мне в руки, полукровка несчастная, уши оборву!

Подобные шутки Дверева с доверчивым и отходчивым дядюшкой были обычны и бесконечны. Мой спутник и в действительности доводился ему племянником — был сыном покойной сестры его. Полукровкой же его называли потому, что отец его, Петр Петрович, происходил из крестьян.

Дверев — отец — видный во всех смыслах слова человек; в юности он был подпаском в деревне, а в старости — членом Государственной Думы и затем влиятельным членом Государственного Совета. Выдавался не только умом, но и внешним видом: был представителен, с серебряной головой, с такими же, длиннейшими усами и серыми внимательно спокойными глазами; держал себя просто и это усиливало почтение, с каким относился к нему уезд.

Однажды молодой Дверев сыграл с дядей Колей такую штуку: явился к нему без обычного гвалта и хохота, притихший, убитый и молча забился в угол.

Дядя Коля обеспокоился.

— Что ты? Чего ты? — спросил.

— Не знаю, что и делать, дядюшка!...

— Не знаешь, так спроси — совет дам. Надурил, курносый?

— Отец очень плох...

Дядя Коля всполохнулся.

— Да неужто?... Что с ним?

— Ослабел, не пьет, не ест... пластом лежит! А тут еще это!... — Он не договорил и махнул рукой; лицо его сделалось окончательно расстроенным.

— Что еще за «это»?

— Так, ничего...

— Да начал, так кончай, пес тебя раздери!... Знаешь, я этого не люблю... проигрался, что ли?

— Хуже!...

Дядюшку отшатнуло вместе с креслом.

— Убил, что-ли, кого?

— Завещание отец написал... — признался Дверев.

— Ну, и на здоровье!

— Вам то на здоровье: он вам все имение отказал, а мне совсем пустяки оставил; написал, что признает вас достойнейшим!...

У дядюшки раскрылся рот: неожиданная весть поразила его в самое сердце.

— Да врешь ты! Да пес ты... брехун!... — воскликнул он.

Дверев побожился: это ему, по его словам, ничего не стоило.

— Ну и ну!... — выговорил дядя Коля. Ему сделалось несколько жалко племянника и в то же время в груди начала взыгрывать радость, а так как скрывать он ничего не умел, то с довольным видом потер руки.

— Допрыгался, стоерос? — ворчливо произнес он. — Коли глуп, коли курнос, слушал бы старших!... вот теперь и дери себя за вихор!... Очень плох отец, говоришь?

— Очень... едва ли до завтра доживет!

Дверев, мрачный и сгорбившийся, уехал, а дядюшка долго лежал на диване, курил папироску за папироской и улыбался.

Ранним утром он покатил в Арзамас и там набрал по лавкам, в кредит под наследство, всякие подарки и пуды кофе, сахару, рису и всяких вин и деликатесов. Из города он заехал проведать больного.

На носках, как полагается в доме умирающего, он вошел в зал и, к великому изумлению, увидал хозяина, стоящим в дверях в столовую и внимательно

следящим за его подкрадыванием; признаков смертельной болезни на лице его не замечалось; одет был, как обычно, в светлосерую пару.

— Узнал, что болен, приехал проведать, — смущенно сказал дядя Коля. — Как чувствуешь себя?

— Спасибо... прекрасно себя чувствую!... Вчера легонький насморк был!...

Дядя Коля вспомнил о неоплаченных горах вин и прочего добра в его коляске и почувствовал испарину. Попал он к обеду и, сидя за столом, горестно наблюдал, с каким завидным аппетитом старик уничтожал заливного поросенка. У самого у него куски застревали в горле.

Поговорили о погоде, потом дядя Коля откашлялся.

— Завещание ты, все таки того... на всякий случай сделал?

Дверев замахал руками.

— Что ты, что ты, какое завещание! я еще пожить хочу!... Наследник у меня один — сын, беспокоиться мне нечего!

Дядя Коля уехал несолоно хлебавши. Месяца два он помнил эту проделку, и молодой Дверев, зная характер своего колосса-дядюшки, не показывался ему на глаза; находясь где-либо в гостях у соседей, чутко прислушивался к приближавшимся звонкам; если узнавал дяди Колины, — срывался с места и улепетывал под общий смех куда глаза глядят: — Ей Богу отдует! — пояснял он всегда в таких случаях.

Имело место и такое происшествие.

Дядя Коля был чрезвычайно суеверен; однажды он проходил вместе с племянником мимо кладбища; дело было под вечер.

— Дядюшка!... вдруг в ужасе просипел Дверев и присел с выкаченными глазами.

— Что ты? Очумел?... — рыкнул дядя Коля.

— Смотрите!... — Дверев указал трясущимся пальцем на кладбище.

Дядя воззрился туда же. За канавой, почти рядом с ними, среди крестов и могил возвышался памятник в виде часовни; безлюдье было полное. И вдруг она шатнулась раз, потом два, и, как бы танцуя, двинулась прямо к дороге.

Дядя Коля весь посерел.

— Свят, свят, свят!... — забормотал он, повернулся и, как медведь на дыбах, пустился на утек.

Дверев помирал со смеху и потом уверял всех знакомых, что точно знает, что у дядюшки приключилась при этом медвежья болезнь. Чудо с памятником объяснялось просто: Дверев заказал два высоких щита из тонких досок, велел соединить их под углом, выбелить, нарисовать оконце, и спрятал за ними двух мужиков; по условному знаку Дверева они двинулись со своим углом и напугали дядюшку до полусмерти.

Забавнее всего было то, что сколько раз ни пробовал потом Дверев сознаться дядюшке в своей проделке, — тот не верил и до конца дней своих пребывал в незыблемом убеждении, что племянник пытается надуть его.

— Да глуп ты, лопоух, врешь всегда, курносый!... — самодовольно возражал он на все объяснения чуда: — не подденешь!... побольше тебя на свете видали!

Однажды по каким-то делам он попал, после многих лет отсутствия, в Москву; случилось это после долгих споров, кряхтений и размышлений. С ним увязался и молодой Дверев.

В Москве, проходя мимо Архангелького собора в Кремле, дядюшка обратил внимание на какого-то лысого господина, стоявшего без шапки и усердно крестившегося на собор. Дядюшка совершил то же самое, надел фуражку, сделал несколько шагов и оглянулся; потом прошел еще немного, опять посмотрел назад и остановился.

— А ведь этот все крестится?... сказал.

Неизвестный продолжал свое занятие. Дядя Коля последил за ним и обеспокоился.

— Да обалдел он что-ли?! — спросил, уже начиная раздражаться. И не успел Дверев опомниться, как дядюшка зашагал к незнакомцу и схватил его за воротник пальто.

— Да будет же, да довольно, наконец!... — загремел он, тряся лысого господина: — ну, помолись, и хорошо, и кончено, черт!... Нельзя же так без конца, пес вас раздери!...

Тот в ужасе обернулся, увидал гиганта, вывернулся угрем из его рук и пустился прочь во всю прыть.

— Сумасшедший!! — глубокомысленно заключил дядя Коля, созерцая прыжки беглеца.

***

Ночь на ухабистых диванах у дяди Коли...

Сладко, с подстоном, похрапывает Дверев; лицо его чуть белеет в полутьме; оба окна и дверь на балкон мною распахнуты; свежо... видно вызвездившее черное, августовское небо, месяца нет. Немолчно цикочат тысячи тысяч кузнечиков; в соседней комнате басисто вторит сверчок...

***

Солнце еще не вставало, когда наш челнок зашуршал в стене камышей и выплыл на свободную гладь озера; дымились туманы; в разрывах их вода казалась черной.

Греб Дверев; весла чуть постукивали в деревянных уключинах; берега намечались неясно: за белесыми языками то проступали, то скрывались вершины сосен; казалось, что мы не движемся, а какие то заблудившиеся в тумане великаны бродят кругом нас; озеро имело, должно быть, в ширину с полверсты.

Берег стал приближаться; появились поля широколистых кувшинок; мы входили в узкий проток, соединявший два озера. Опять лесом встал высокий камыш с черно-бархатными банниками на концах стеблей; грести сделалось нельзя — приходилось отталкиваться. Несколько раз, то чирки, то кряковые утки выплывали из чащи чуть не рядом с лодкой и, не торопясь, опять скрывались.

Вдруг мы выскользнули на простор и легко пошли по вольной воде. На минуту я оцепенел: над белым морем тумана, в полусумерках, крутым полукругом вставала отвесная стена обрыва, уходившая в небо на неизмеримую высоту. Гребень ее весь был охвачен ярким пламенем; это еще невидное внизу солнце озаряло мачтовый лес.

Небо светлело; туман быстро стлался на воду и исчезал. Еще несколько мгновений, и открылось круглое озеро; в темной воде его отразились, словно опрокинулись, высокие берега.

Это главное из озер. Около него тысячедесятинное имение Пашковых — Пустынь; нет там ни дома, ни избушки, всюду безоглядный, бездорожный глухой бор, шумящий свои думы...

Святым озером стало прозываться сравнительно

недавно; в старые годы люди боялись проходить вблизи него: не только ночью, но и днем там слышались стоны и появлялись привидения. Неподалеку от обрыва пролегала большая дорога на Нижний, и много человеческих душ было загублено на ней; тела убитых и даже повозки и коляски сбрасывались разбойниками с отвесной кручи в воду. И ничего не отдавалось назад озером: глубина его необыкновенная!

Немало преданий связано с этими берегами.

Удалось, наконец, перевести разбойников, труднее оказалось дело с привидениями.

Дважды собирались большие крестные ходы, служили на обрыве панихиду по всем убиенным и бросали с кручи, как на братскую могилу, железный крест. Но панихид оказалось недостаточно: вода оба раза выкинула кресты на берег, и души погибших продолжали пугать и беспокоить живых людей.

Тогда в третий раз собрался еще многочисленнейший крестный ход. В озере святили воду, отслужили опять панихиду и спустили деревянный крест. Вода приняла его: он потонул на глазах у всех, и с этих пор привидения перестали являться, а озеро получило прозвание святого, которое распространилось и на все остальные.

В детстве нам рассказывали няньки, что еще на их памяти водились в уезде шайки разбойников. Помещики жили как в крепостях, каждый имел собственную охрану.

Случалось, ночью, среди глубокой тишины вдруг раздавались гик и посвисты; улица деревни озарялась как бы пожаром, и все обыватели срывались с мест и бросались гасить огни и чем попало завешивать окна: если в какой-либо избе этого сделано не было, хозяева ее приканчивались, а сама она поджигалась.

Ни одна живая душа не смела подойти к окну и заглянуть наружу. Разбойники проезжали верхом на конях, с песнями; впереди находился всадник с зажженным снопом соломы на шесте; лица большинства были завязаны полотенцами...

Но недаром звонили колокола Арзамасские: все же в уезде были не только разбойники!

В бедненьком женском монастырьке в Арзамасе перед самой мировой войной случилась вот какая история.

Жила там привратницей совсем простая, смиренная монашка Фиона: глупенькой даже ее почитали; было ей лет тридцать, не более. И вот, однажды явился в монастырь мужик с раздутой щекой; сестры-врачихи, как на грех, дома не оказалось — в Нижнем была.

Мужик чуть криком не кричал — до того драли зубы. Поглядела на него Фиона, поскорбела, а чем помочь — знания нет. И вдруг ее осенило!

— Ну-ка... — сказала, — дай я тебе, сердешный, щеку маслицем святым смажу! — Обмокнула в лампадку тряпочку и ею на щеке во имя Отца и Сына и Святого Духа знамение сделала.

У мужика боль как рукой сняло. Он бух Фионе в ноги; рассказывать везде о своем исцелении начал. Покатилась по уезду молва о ней, как о целительнице; народ повалил к ней толпами. Сначала отнекивалась она, ужасалась своей продерзостной славе, а потом обыкла: наложит на недужного руки, или маслицем смажет — и сейчас облегченье, а то и здоровье люди получали.

Потек в монастырь ручеек серебряный! От ворот ее, конечно, взяли, в келье большой поселили, в почете, прислужниц дали. А та, как была бессребрени-

цей простой да робкой, — такой же и осталась, все на прежнее место просилась.

Минуло времени с год. Заметили сестры, что заскучала Фиона — с лица спала, задумываться начала. В один прекрасный день явилась она к матери игуменье и в ноги ей поклонилась.

— Отпустите меня, матушка, Христа ради!... — попросила.

Та изумилась.

— Куда тебя отпустить? Зачем? Почему?

— Сила во мне слабеет!... — пояснила Фиона. — Уйти время мне! В затвор дозвольте!

Игуменья и слушать больше ничего не захотела: велела молиться усерднее и назад ее в келью отослала: — бес, мол, смущает тебя!

Хватились на утро Фионы — ан ее нет нигде! Какими путями она исчезла, куда — осталось неведомым: за ворота она не выходила, никто ее не видал.

Так Фиона как в воду и канула!

Ушло еще с год, и однажды заплутался в лесу близ Святых Озер мужичек. Ночь пала темная — даже звезд не было, время подходило позднее, худое; взмок со страху человек, не мог сообразить куда податься — всюду сосны, овраги, того и гляди где-нибудь сорвешься и в тартарары угодишь! Принялся он креститься, как попало молитвы творить, и вдруг огонек впереди мигнул. Он туда: в ложок в какой-то, полный кустов, спустился — огонек все глядит. Пробрался мужик через заросли — в дверь уперся; ошарил ее, отворил — перед ним просторная с земляным полом часовня, на стене иконы в несколько рядов висят; перед большим Спасовым ликом лампадка теплится; слева от входа срубок низенький замшелый,

в нем вода ключевая пузырится, сбоку черпачки и корцы берестяные белеют.

Ударил мужик земной поклон перед Спасом и смекнул куда попал: рассказывали на деревне, что имеется где-то в овражке неглубоком, в самой дебре, часовня старинная, запущенная; тропы к ней не было — еще в давние годы она вся заросла травой, в кустах потонула.

Оторопел мужик.

— Как так! — подумал: — сказывали, что без призору, в запустенье, стоит часовня, а лампадку то кто же зажег в эдакой трущобе?

Стал он осматриваться; видит — все прибрано, паутина со стен обметена, иконы вычищены. Приоткрыл мужик дверь, чтобы окликнуть, нет ли человека, да такая темень глянула, что не осмелился голосу подать, дверь накрепко притворил.

Подождал он немного, потом ослабевать стал, размариваться. Покрестился еще на иконы, к стене подвалился, заслушался, как среди тишины ключ булькает, да и уснул невдолге.

Утречком встал мужик, вышел наружу, обогнул раз и другой часовню — нет нигде следа человечьего: ольха да осина с орешником кругом, а выше на бережках над оврагом, ели до поднебесья.

И вдруг застыл: монашка вся в черном показалась — Фиона целительница. Он к ней.

— Матушка! — закричал: — Мать Фиона! Вот где привел Господь найтить тебя!

Та повернулась к нему и руку вытянула, не допуская до себя.

— Не ищите меня!... — сказала: — нельзя пока мне... я сама приду, когда время настанет!...

И, не шевелясь, поплыла по-над кустарничком и

скрылась... лицо ясное-ясное было, будто даже светящееся...

Выбрался мужик из лесу да прямым ходом к дяде Коле и рассказал, что случилось. Дядюшка всполохнулся. Немедленно в беговые дрожки был заложен беломордый, караковый жеребец, дядя Коля, что добрая копна, занял собой почти все сиденье, мужик кое-как прицепился за ним на карачках, и дрожки покатили по горячему следу.

— Мать Фиона, да где ты?... Да плюнь же, выходи!... — под землю, что-ль влезла, — дело есть!... понапрасну раскатывались по дремучему бору львиные рыки дядюшки.

Отзывалось только эхо. А часовня, действительно, оказалась приведенной в полный порядок...

***

К одиннадцати часам утра охота была окончена: уток всяких пород мы набили чуть не полный челнок.

Мне захотелось побывать на самом обрыве в мачтовом бору; я оставил около брички ружье и своего спутника и пустился в гору обходной, но все таки крутой тропкой.

Стояло полное безветрие; в бору ничто не шелохнулось; кругом подымались величавые, бесчисленные сосны, вернее тысячи красногранитных колонн Исакиевского собора; над ними раскидывался прозрачно-зеленый свод; густо, как медом, пахло смолой. Травы нигде не замечалось; нога, как по паркету, скользила по опавшей, коричневой хвое.

С выси обрыва, с птичьего полета, открылась даль, — синяя, заполненная безбрежным лесом; бес-

конечной вереницей голубели озера разной величины и очертаний; внизу, в бездне, разверзавшейся под самыми ногами, словно зеркало, вставленное во дно глубочайшего кратера, блестело Святое Озеро; какая-то невидимая рука с неодолимой силой тянула в провал; было жутко... я невольно крепко жался к стволу дерева. Долго не мог я отвести глаза от развертывавшейся везде красоты.

За озером белым пятном показался дымок... долетел звук выстрела — это Дверев потерял терпение и звал меня возвращаться.



Через два часа мы со своей добычей въезжали в обширный двор имения другого дядюшки Дверева — Алексея Дмитриевича Казаринцева.

## Глава 2

Первое, что приковало к себе мое внимание, были собаки: они показались отовсюду — из-под потемнелых сараев, из-под навесов, крылец, телег, и все это разномастное наводнение с лаем ринулось на нас; в одну минуту целая стена из беснующихся, облезлых собачьих скелетов замкнулась вокруг брички кольцом; лошади задергали вверх мордами и пошли шагом.

Спутник мой принялся лупить кнутом вправо и влево, но это не помогало; гвалт поднялся невообразимый.

На пустынном балконе низкого, длинного, серого дома появилась долговязая, нескладная фигура хозяина в чесунчевом пиджаке и черных брюках; из людской выскочило двое мужиков с поленьями в руках и с грозными окриками и бранью бросились на собак; те разбежались в разные стороны и расселись полукругом в некотором отдалении; штук их было, как я позже узнал, за восемьдесят.

— Дядюшка, а мы к вам с добычей!... — возгласил мой спутник, выскочив из брички. — Я и приятеля с собой прихватил!

— Здравствуйте, здравствуйте, господа стрелки!... — сладким тенорком отозвался хозяин, незаметно, но пристально вглядываясь в меня. — Рады гостям и с утками, и без оных!

Передо мной стоял типичный горилла по складу тела; невообразимой длины ноги его начинались, казалось, прямо от груди и были согнуты как у опоенной лошади; огромные руки, с подобием клешней омара на концах, свисали со скошенных плеч ниже колен; зеленоватого цвета глазки были так широко расставлены, что казались находящимися на висках; мерцали они как огоньки в глубоких пещерах, над ними торчали рыжие кусты бровей; волосы на голове и постриженная клинышком бородка были рыже-седые. Все широкое лицо и сплющенный нос покрывали крупные веснушки. Сходство с гориллой было такое, что я невольно стал искать взглядом признаков шерсти на незакрытых частях его тела; она имелась и в действительности: густые, рыжие клочья ее вылезали из рукавов.

Мы познакомились, поздоровались.

— А каковы сторожа, а?... — умиленно произнес Алексей Дмитриевич, кивнув на собак. Он призакрыл глаза, склонил на бок голову и потряс ею: — вся суть, знаете ли, в том, чтобы их не кормить!...

Трудно было бы сыскать двух братьев более не похожих друг на друга, чем Казаринцевы.

Дядя Коля был само добродушие, доверчивость и благородство. Алексей Дмитриевич даже говорил совсем по-иному: кротко, елейно, убедительно — будто ручеек журчал; по виду был само смирение и доброта, но изо всей его кротости и благих наме-

рений всегда выходили, к горестному его недоумению, одни пакости.

Кляузник был первейший в губернии. Если нужно было кого-нибудь спихнуть с места, подвести, разодолжить, — за всем этим обращались к Алексею Дмитриевичу не только местные Талейраны, но даже и из Петербурга, и он ездил туда «на гастроли».

Сделав свое дело, Алексей Дмитриевич первый начинал слезоточить о происшедшем и удивляться человеческой глупости и низости; чем более распинался он при этом, тем более, значит, было у него рыльце в пушку. Даже подарки, которые он нет-нет и любил делать, были таковы, что получившие не знали потом, как отделаться от этих данайских даров. По каким-то причинам он зарылся в своей деревне и взял место земского начальника. Хозяин он был плохой: скупой, ленивый; все внимание его обращалось на измышление новых каверзных дел. Окрестные крестьяне его ненавидели, дворянство побаивалось.

В 1905 году, когда усадьбы помещиков пылали как свечи по всей губернии, имение Алексея Дмитриевича осталось нетронутым — не сгорело даже ни стога сена в лугах.

Обстоятельство это привлекло к себе всеобщее внимание, но сколько ни допытывались соседи о причинах благосклонности судьбы к Алексею Дмитриевичу, тот склонял голову на бок и умиленно отвечал: «Господь знает, кого надо оберегать!» А по широкому рту его всползала к ушам улыбка. Наконец, однажды после какого-то удачного подвига, он находился в особо приятном расположении духа и проговорился.

— Ум!... — сказал и многозначительно потыкал

себя в лоб длинным пальцем: — потому и не горю... застраховался!...

— Где?... как?...

— У мужиков. Все можно сделать на свете, только мозги надо хорошие иметь... не всякому это дано, конечно!...

Больше он ничего не добавил; остальное было узнано иными путями.

Произошло следующее.

Близ имения Алексея Дмитриевича находилось большое село и под самой околицей последнего в землю крестьян врезывался стодесятинный клин его земли; мужики были в конец замучены всякими исками и штрафами барина за потравы. Как только донеслась тревожная весть о первых поджогах в соседних уездах, Алексей Дмитриевич мгновенно смекнул, что дело плохо, вызвал из села старосту и велел ему собрать сход. Озлобленные мужики запаслись чуть не дрекольем и явились на обычное место, к правлению. Прикатил на беговых дрожках и Алексей Дмитриевич. Ни одна шапка не была скинута перед ним, ни один голос не ответил на его здорованье.

Алексей Дмитриевич как бы не заметил ничего, согбенным старцем, едва передвигая ногами, вошел в круг и снял соломенную шляпу.

— Вот что, милые мои!... — начал слабым голосом: — время мое пришло, помирать скоро буду, так покаяться я к вам приехал. Много я греха на душу принял и вам всякой обиды и неправды чинил: простите меня, окаянного, Христа ради! — и поклонился в пояс.

— Теперь, напоследях, вины свои перед вами загладить хочу; слушайте же, милые... — под самым вашим селом сто десятин моей землицы есть... хоть и

не Бог весть какая она, а все же вам до зарезу нужна! Дарю ее вам на вечное пользование!...

— Вот спасибо тебе!... вот отец родной!... — радостно загудела толпа: — вот ты какой душевной человек оказался!

Алексей Дмитриевич поднял рыжую руку.

— Тише, милые, тише!... — попросил: — я еще до конца не договорил. Земля труды любит, так вот хочу, чтобы и моя земля в руки хороших, работящих людей попала... прав я, или нет?...

— Прав, прав!! — загомонили кругом.

— Условие мое такое: дарю землю всем вам, а вы уже сами разберите, кто лучше и достойнее, и поделите ее между ними. Ну, будьте здоровы и счастливы, владейте на здоровье, милые мои!...

Мужики чуть не на руках донесли своего благодетеля до дрожек и усадили на них; вернулся он домой довольный-предовольный; согбенности и слабости и приметы не оказывалось; долго гулял он по балкону и напевал марш из Аиды.

Минул еще денек, — к вечеру второго дня из усадьбы завидели в селе пожар. На следующий день приключился второй; на третий сгорело два стога сена в крестьянских лугах; на пятые сутки убили кого-то; драки пошли по селу ежедневные, зверские; вся злоба, которая годами скопилась против Алексея Дмитриевича, обрушилась крестьянами на свою же получившую землю счастливую братию.

А у того все продолжало идти тихо и мирно. Алексей Дмитриевич посматривал с балкона днем на столбы дыма, либо вечером на зарево над селом и покачивал пегой головой.

— Бедненькие!... — скорбно произносил, — опять они горят!... О-хо-хо... вот жаль их!...

А в чертовых лампадочках под скошенным назад лбом мерцали злорадные зеленые огоньки.

**
*

Алексей Дмитриевич повел нас в дом; обстановка его была лучше, чем у дяди Коли, попадались недурные вещи из красного дерева, но все было тоже очень подержанное.

В столовой, из-за круглого стола, не подымаясь с места, нам сделала приветственный жест белой, пухлой ручкой несколько полная, пожилая, еще красивая дама с черными глазами и такими же волосами — тетка моего спутника — Анна Эрнестовна. Родом она была венгерка, по-русски говорила плохо. Дверев еще дорогой с хохотом предупредил меня, что в каждый приезд свой он старается научить тетку какому-нибудь забористому словцу, и чтобы я не падал в обморок от словесного репертуара, царившего в их доме. Бранные слова произносились у них походя, в виде ласки или легкого укора и оскорбительного значения отнюдь не имели. Человек Анна Эрнестовна была приветливый, несколько старомодно-сентиментальный и страдающий мигренями; на подвитых рядами волосах, на темени, чуть не всегда белел носовой платок, сложенный в виде квадратика и намоченный уксусом.

За тем же столом, спиною к нам, помещалась широченная туша, плотно обтянутая засаленным холщевым подрясником; она оглянулась, и я увидал калмыцкого типа лицо с красным пупырышком-носиком и с бородой будто воротник, выпущенной из-под нижней челюсти; это был священник из соседнего

села — Иван Семенович — ближайший придворный и друг дома Алексея Дмитриевича. В тайны свои, впрочем, последний никого не посвящал.

Со всеми Казаринцевыми отец Иван был на ты, был вдов и целыми днями пропадал у Алексея Дмитриевича, где с раннего утра азартно резался в преферанс, либо в стуколку. Скуп был еще больше, чем его друг; собственной лошади не держал, ходил к нему в гости пешком, а на обратный путь выпрашивал тележку. А так как человек был забывчивый и неаккуратный и, вдобавок, часто превращался в мертвое тело, то случалось, задерживал лошадь и бричку у себя по несколько дней и возвращал их в таком виде, что приказчик, человек характера мрачного, молча сплевывал в сторону, а на конном дворе конюха гнули такие слова, что передать их невозможно.

— А я вчера подарочек нашему попу сделал!... — оповестил нас, усаживаясь за стол, Алексей Дмитриевич.

— Какой? — изумился Дверев.

— Лошадку!... надоел он мне как черт, всех лошадей перемучил! Вот я ему одну и отобрал, кобылку смирненькую, белую — пусть на своей собственной ездит, за меня Богу молится. Хоть сдохни теперь — другой не дам!

— Да уж ладно, ладно, обещался, что не попрошу. Спасибо! — отозвался Иван Семенович.

Дверев проскользнул к тетке вперед меня и нагнулся к ее ручке.

Та мягко взяла его за ухо.

— Ти, холера, какой опять меня слов научиль? — спросила она.

— Я!... когда?... Какому слову?, — заверещал Дверев, прикинувшись дурачком.

— Нельзя сказайт при всех!...

— Тетушка, да я таких слов совсем не знаю!... — продолжал распинаться Дверев. — Вы всегда на меня клевещете!

— Он гадки-прегадки!... — улыбаясь обратилась ко мне хозяйка и выпустила ухо племянника: — ви его не слюшайте — он совсем свиниа!...

О. Иван грузно повернулся в мою сторону.

— А как вы насчет преферансика?... — спросил он, в упор уставясь на меня и потирая руки с таким видом, словно собирался приступить к боксу.

— Неграмотен!... — отозвался я.

Толстые губы Ивана Семеновича пренебрежительно выпучились. Он махнул рукой и отвернулся; чай им был уже выпит, и он от нечего делать начал водить коротким перстом по краю пустого стакана.

Меня и моего спутника, как дорожных людей, немедленно накормили яичницей, ветчиной и всяческими грибками. Дверев потешал всех, рассказывая свежие уездные новости; о. Иван хохотал как-то по-особенному — казалось смех не исходил из его рта, как это полагается у всех людей, а наоборот, вкатывался в него и рычал в объемистой пещере его чрева.

Алексей Дмитриевич хихикал, доходя до фальцета; Анна Эрнестовна часто переспрашивала и, поняв, вся колыхалась, как от землетрясения.

— Ти все врошь!... он все врот... — убежденно добавляла при этом.

— Ей Богу, тетечка, честное слово!... — бия себя в грудь, кричал в ответ Дверев: — разрази меня на этом месте Илья Пророк, ничего я не в рот, а все изо рта!...

Когда оживленная беседа стала стихать, я, чтобы не расстраивать обычного времяпрепровождения хо-

зяев, предложил им не чиниться со мной и садиться за ломберный столик, на который с протяжными вздохами давно уже посматривал о. Иван.

— Великолепно... я сам не люблю стеснений и церемоний!... — умилился Алексей Дмитриевич. — А вы по дому погуляйте; в кабинете у меня книжки есть, пожалуйста, все к вашим услугам!... С письмоводителем моим побеседуйте — преинтереснейший человек... только во двор не ходите — собачишки подлые разорвут!...

— А по саду можно пройтись?

— М-м-м... кругом они, знаете ли!... Сердце уж такое доброе у меня: все жалел топить щенят, вот они и развелись на мою шею!

Анна Эрнестовна с томной улыбкой покивала мне головой, поднялась и перешла к зеленому полю. Оживившийся о. Иван принялся разграфлять стол мелом.

— Пикендрясы!... — возгласил о. Иван, еще не развернув как следует своих карт и засматривая в карты Дверева, неосторожно отставившего их далеко от себя. К изумлению своему я увидал, что широко расставленные глаза Алексея Дмитриевича сделались совершенно косыми, и он как лошадь сразу глядел на две стороны — в игру о. Ивана и племянника; собственную он держал под столом, зажав ее между коленами, и только изредка нырял к ней, убеждался, что там ничего не изменилось, и торговался дальше.

— Трефишки!... скромно произнес он.

Я постоял около игроков и вышел в зал, довольно большой и неуютный; из него попал в угловую комнату; среди нее находились некрашеный стол, весь закапанный чернилами, и желтый венский стул с продранным плетеным сиденьем; никакой другой мебели не имелось. По сторонам их, прямо на полу

возвышались два бугра из исписанных бумаг; много их было разбросано и на подоконниках; на некоторых отпечатлелись следы ног, очевидно ходивших по ним в грязную погоду. В давно немытые и не отворявшиеся окна смотрело солнце; спертый воздух был пропитан запахом табака.

Я поднял несколько бумаг и бегло просмотрел их: то были какие-то жалобы, циркуляры, донесения.

Противоположная дверь приотворилась и показалось лицо в полукруге светлой бородки; на узенький лоб свисала волна длинных русых волос. Голубые глаза незнакомца с вниманием остановились на мне. Он вошел в комнату, поклонился, шаркнул ногой и, хотя я стоял далеко, бочком стал пробираться мимо меня; оказался он почти карликом.

Я ответил тоже поклоном.

— Что это здесь помещается? — полюбопытствовал я.

Человечек остановился и раскрыл рот; глаза его выкатились.

— Ка-ка-ка-ка... — начал он, тщетно стараясь выговорить слово; щеки и лоб его покраснели.

— Канцелярия? — подсказал я.

Заика с удовлетворенным видом кивнул головой, и глаза его вошли обратно в орбиты; он присел, как на облучек, на ободок своего стула — иначе нельзя было, и принялся что-то писать, предварительно испробовав обломанное перо на одном из циркуляров.

— Вы, вероятно, письмоводитель?... — опять спросил я.

Человечек встал.

— Пи-пи-пи-пи... — он так и не смог договорить, сел и опять взялся за свое занятие.

Разговориться с таким «интересным» человеком

было невозможно; я направился дальше и попал в кабинет. Оба окна его были полузакрыты толстыми, коричневыми гардинами; лучи солнца струями падали на синее сукно обширного стола; на середине его, словно на костре, пылал массивный письменный прибор из золоченой бронзы; чудовищный по размерам турецкий диван, обитый черной клеенкой, примыкал к столу; третью стену занимали полки с книгами.

Я стал просматривать корешки книг; толстенные томы их были все юридического содержания; особенно много имелось Сенатских Решений. Беллетристика отсутствовала совершенно, и только на одной из полок отыскался «Русский Архив».

Я взял пару книг его и направился в столовую — оттуда явственно доносились голоса споривших игроков.

Из гостиной они сделались мне видны: Алексей Дмитриевич лежал грудью на столе, возил по нем пальцем и проверял запись о. Ивана.

— Это ты, батя, откуда же две сотни сюда пригнал? — укоризненно, но ласково спрашивал он: — вистов у тебя всего шестьдесят стояло, а теперь вдруг двести шестьдесят сделалось! И сволочь же ты, отец!...

— Да ты постой, постой! — так же миролюбиво возражал о. Иван. — У меня хоть бухгалтера зови, все верно. А ты на свою запись погляди, потом уж на мою. Откуда ты ноль-то себе подкатил, жулик?

— Да он давно уж у меня стоит!... — ответил Алексей Дмитриевич, и, везя телом по столу, опустился на свое место.

— И шпана же у нас поп!... — добавил он, обращаясь уже исключительно ко мне: — не догляди — подметки у тебя вырежет!

— Дядюшка! — с необыкновенно скромным видом, деликатно вмешался Дверев: — вы животиком по столу лазили и штраф у себя стерли!

— И впрямь слизнул! — подхватил о. Иван: — куда девал восемнадцать?

— Какие такие восемнадцать?! — якобы от всей души изумился Алексей Дмитриевич: — и не было у меня никогда такого.

— Врешь, врешь, был!... сейчас ты его стер!

— Увы, был, дядюшка!... — грустно подтвердил Дверев. — Я персонально только что подсадил вас на семи.

— А, ну может быть!... значит, стер как-нибудь нечаянно, из-за вас, мазуриков!... — согласился Алексей Дмитриевич, выводя единицу и восьмерку на своем поле... — Подавитесь! Я, брат, широкая натура, не стану спорить из-за пустяков! И не такие штрафы отыгрывали!

Я долго не слушал, уселся в кресло и погрузился в чтение. К ужину пулька окончилась, а после него о. Иван собрался домой. Бричка была подана к крыльцу и мы все вышли проводить уезжавшего.

Ночь стояла безлунная, звездная; из окон дома полосками падал свет и мутно озарял перила и часть земли за балконом; ее, как грибы, усеивали мирно сидевшие собаки; белым пятном выделялась лошадь; молодой конюх одергивал на ней шлею.

— На собственной теперь поедешь, на поповской!... — говорил Алексей Дмитриевич: — лошадка редкостная, с ходом, береги ее!

О. Иван ступил на железную подножку, и бричка чуть не перевернулась от его тяжести. С помощью конюха он уселся, взял в руки веревочные вожжи и задергал ими; лошадь даже не шевельнулась.

— Доброй ночи, прощайте! — произнес с высоты брички священник, зачмокал, но результат был все тот же.

Конюх подал кнут.

— Вполосовать ее хорошенько надо, — посоветовал при этом: — тогда пойдет!

О. Иван вытянул ее смаху раз и другой и третий... после пятого она тронулась и шагом пошла к воротам. За нею поднялись и безмолвно потекли во тьму собаки.

Мы некоторое время стояли и глядели на небо.

— Дядюшка, — произнес Дверев, — а на завтрашний денек можно вашего Прокофия взять? За тетеревами хотим походить.

— Ну, конечно!... велю ему чуть свет явиться...

Красота ночи, должно быть, разнежила Алексея Дмитриевича.

— Я и о тебе подумал и тебе подарочек приготовил!... — обратился он к Двереву.

Тот встрепенулся.

— О? Какой?

— Собачку. Ты охотник, а пес у тебя дрянь! А этот... м-м... золото! — Алексей Дмитриевич поцеловал кончики своих пальцев.

— Какая же это такая? У вас нет такой!

— Есть.

— Да где же она?

— У Прокофия в лесу. Я врать не люблю; всю жизнь меня благодарить будешь: во-первых, монумент, а во-вторых — чутье! В Америке дичь взлетит, а она здесь стойку сделает!

— Ой, дядюшка, надуваете!...

— Ну, вот еще глупости! От искренней души тебе дарю!... Вы от нас куда двигаетесь?

Дверев поведал наш план: мы собирались объехать кругом все озера и через имение дяди Коли вернуться в Арзамас.

Алексей Дмитриевич выслушал со вниманием.

— Вот и отлично! На обратном пути и ко мне загляните — тут крюк небольшой; тогда и собачку захватите!

Мы расстались. Для ночлега нам отвели комнату близ прихожей и предназначавшуюся для приезжающих. Она была так узка, что в ней помещались только две кровати, умывальник и крохотный диванчик.

Мы улеглись по постелям и долго беседовали; речь шла главным образом об Алексее Дмитриевиче: Дверев его тонко понимал и не особенно жаловал.

— Как он такого заику в письмоводителях держит? — заметил я. — Ведь с ним двумя словами перемолвиться нельзя!

Дверев крепко затянулся папиросой.

— Вопрос высшей политики... — отозвался он.

— Какой же?

— Этот Григорий Петрович у него для приема и объяснений с просителями служит.

— Как же это он делает?

— Все так же: заикается.

— А дальше что получается?

— Да то, что требуется: посетитель плюнет и уйдет и уже больше не явится! Прошение его кладется на вечный покой в кучу бумаг, и дело, по словам дядюшки, «кончается миром». Вы заметили ворох бумаг в канцелярии? Левая груда на полу — это уголовное отделение, правая — гражданское!

Дверев оживился и приподнялся на локте.

— Вот раз была потеха!... — начал он: — и каналья же у меня дядюшка! В одно прекрасное утро

его известили, что на днях в губернию приезжает из Петербурга ревизор и будет у него. Дядюшка труса запраздновал, давай с Григорием Петровичем на карачках елозить, бумаги с пола собирать, по обложкам их распихивать! Прошло три дня — нарочный прискакал от исправника, записочку привез: ревизор уже в Арзамас пожаловал и лошадей на утро заказал — собирается нагрянуть к нему первому.

Просыпается в утро отъезда ревизор и видит в окошко — шесть возов, верхом нагруженных, во двор к нему въезжают; на одном из них маленький человечек с портфелом под мышкой восседает. Остановились возы у крыльца, человечек слез, подошел к окошку, шаркнул ножкой, вынул пакет, большой с сургучной печатью и подал ему. Тот изумился.

— От кого это! — спрашивает.

Григорий Петрович ему в ответ: — Ка-ка-ка...

— Что это за возы вы привезли?

— Бу-бу-бу... — и ни тпру, ни ну, застопорился!

Вскрыл ревизор конверт, а там медицинское свидетельство о болезни и любезнейшее письмо от дядюшки; чрезвычайно, мол, огорчен тем, что тяжелая болезнь приковала к постели и лишает возможности принять у себя глубокоуважаемого гостя; а чтобы не утруждать его дальней поездкой, он посылает ему для ревизии все дела и письмоводителя для объяснений.

Ревизор втупик стал; впервые на такую историю наскочил. Куда деваться с шестью возами бумаг? На дворе оставить нельзя, в номер перенести немыслимо — и повернуться в нем будет негде. Подумал-подумал, приказал развязать возы; сняли с них веревки, веретья; сунулся ревизор, вытащил из связки одно дело, другое, развернул их, а там и чорт не раз-

берет ничего — Ивановские бумаги с Семеновскими натырканы, Петровские с Павловскими, ерунда, хаос.

Ревизор с пеной у рта на Григория Петровича набросился:

— Это еще что за навоз вы привезли?

— Не-не-не на-на... — отвечает тот.

Ревизор совсем в ярость впал, заорал, ногами затопал; Григорий Петрович со страху уж и звука вымолвить не может — как пробкой его закупорило, только пузыри на разинутом рте вскакивают... На двор народ набился, слушает, уши развесив; бабы пересмеиваются.

— Год этот хлам надо разбирать!... — кричит ревизор: — вот все это, к чертовой матери, назад все везите!...

Возы увязали, поехали они обратно.

— И благополучно сошла такая ревизия? — спросил я.

— А как же иначе! — убежденно ответил Дверев: — Ведь наши земские начальники все из своего дворянства, а не по назначению из Питера. Попробуйте такого спихнуть — вся губерния загалдит! А дядюшка на всякий случай загвоздочку из ревизорского словечка о чертовой маме заготовил — за свой счет его отнес, да предводителю частным письмом и сообщил: получилось публичное оскорбление должностного лица, да еще с подрывом авторитета власти — это теперь не картофель в мундире! Ревизор радрадехонек был, что по добру, по здорову от наших в свой Петербург уплелся!...



Утром я проснулся еще до зари; воды в умывальнике не оказалось, а так как звонков в доме не имелось, то я, полураздетый и босиком, выглянул в коридор, чтобы позвать горничную. Там было почти темно; охватило особой, размаривающей, теплой духотой, скапливающейся под утро в жилых домах. Коридор выводил в небольшую переднюю с тремя дверями; я подошел к ней и увидал сидевшего на табурете сильно курносого человека в старом сером пиджаке; обутые в высокие порыжелые сапоги, ноги его были вытянуты вперед и раздвинуты ижицей; спиной он отвалился на стену и спал; опущенные руки почти касались пола: на давно небритом лице синела щетина; густые темные усы свисали на подобие двух подкрученных дамских локонов; лет ему было за сорок.

Против незнакомца, по другую сторону двери, прижавшись к ней правым плечом, сидел плохенький коричневый понтер и тоже спал; в углу за ним стояло ружье.

Я сообразил, что незнакомец и есть тот самый Прокофий, о котором говорилось накануне, и хотел окликнуть его, но удержался.

Прокофий медленно, как лунатик, отделился от стены и словно намеревался нырнуть между собственными коленями; на половине дороги он мотнулся обратно и снова начал валиться вперед.

Собака проделывала то же самое, только голова ее свешивалась на бок; казалось — еще клевок, и оба покатятся по полу, но невидимая рука дернула обоих назад; они разом выпрямились, недоуменно-испуганно глянули друг на друга и так же мгновенно уснули. Через минуту все повторилось. Прокофий обвел

взглядом стену, с сердцем плюнул в сторону собаки и вдруг всхрапнул на всю переднюю.

Начался новый клев...

— Тьфу, будь ты проклята!!... — пробормотал, опять очнувшись, Прокофий; понтер, не открывая глаз, слабо постучал хвостом в знак согласия.

**
*

Приблизительно через час бричка наша уже сворачивала с проселка в редкий, могучий сосенник; колеса беззвучно катились без дороги по опавшей хвое; вставало солнце; первые лучи его алыми лентами перевили густые, раскидистые вершины... проснулся ветерок, и бор говорил неясными голосами.

На козлах помещался и правил Прокофий; за спиной его торчало старое ружье с толстым и необычайно длинным стволом; понтерок Пилат рыскал по сторонам брички; Дверев сидел невыспавшийся и потому молчаливый и удивительно напоминал нахохлившегося желтого удода. Я изредка обменивался с лесником парой слов; человек он оказался гнусавый и беспричинно неприятный; скуластое лицо и рыжие глаза его имели испытующее и недовольное выражение; чувствовались в нем сварливость и заносчивость.

Начали попадаться неглубокие лощинки; в одной из них, полной березняка, он затпрукал и мы остановились. Прокофий выпряг коньков, стреножил их и пустил пастись на траве.

Мы взяли ружья и цепью, не упуская друг друга из вида, по пояс в папортниках, пошли вдоль опушки березняка — такие места излюблены краснобровыми тетеревами. Не минуло и нескольких минут, почти

из-под собаки, будто черно-бархатный плащ, шумно взметнулся в воздух первый косач; звучно, на весь лес, грохнул выстрел Дверева, и тяжелый самец рухнул в кустарник.

Лощина суживалась; я шел средним и скоро очутился почти рядом со своими соседями. У меня и у Дверева было подвешено к ягташам уже штук по пяти птиц, и только Прокофий не дал ни одного выстрела; несколько раз я видел, что он вскидывал к плечу ружье, целился во взлетавших тетеревов и опять опускал его. Наконец, он остановился, достал из глубоченного кармана отвертку и стал развинчивать замок.

Я подошел к нему.

— В чем дело? — спросил.

— Да курок заскочил!... — прогнусавил Прокофий.

— Как заскочил?

— А на третьем взводе, бывает с ним, заскакивает... нипочем не спустить тогда: разбирать надо!

— Вот так ружье!... — заметил я.

— Ружье знаменитое, от первейших охотников, — недовольно отозвался Прокофий. — Бьет так, что хучь слона им удовлетворить можно!

Дверев увидал, что мы остановились, и направился к нам. Лицо его осветилось улыбкой.

— Что, опять курок заскочил? — крикнул он еще издали. — Вот еще чертов фузей!...

— И вовсе не фузей!... — раздражаясь уже не на ружье, а на нас, возразил Прокофий: — ружье доподлинное!

— Замечательное ружье!... — продолжал Дверев: — из десяти раз один стреляет, а во все остальные заскакивает!

— И неправда! — уже совсем гнусаво выговорил Прокофий: — что зря говорить!

— Я видал, вы несколько раз пробовали стрелять и у вас все заскакивало, — вмешался я.

— Опять двадцать пять!... Ничего курок не заскакивал, а на капсюль садился! Бывает, дернешь собачку, он не вдарит, а пухом сядет — пистона и не разбивает.

Дверев захохотал.

— Черт его разберет, когда он садится и когда заскакивает! — сказал он: — Факт тот, что больше пяти раз из этого самопала за сутки не выстрелишь... дядюшкин подарок! А уж бьет эта пищаль — хоть с подставки стреляй — все небеса продырявишь!

— Вас только послушай, вы наговорите! Это какая же пищаль?... — Прокофий приподнял ружье за ствол и как бы любуясь, показал нам. — Дальнобой! Не то что тетерьку — всякую животныю им сражу! Кажное ружье свою привычку имеют, вот что понимать надобно!

— Какую такую привычку?... — заинтересовался я.

— А такую: из него на четверть ниже надо целить, да на поларшина правее: в самую такцию и угодите!...

Дверев залился смехом.

Прокофий, ворча под нос: «Вам все вот смехи!...» — исправил замок, и мы тронулись дальше.

Через несколько минут Прокофий быстро поднял свой знаменитый самопал; вылетел длиннейший язык огня и бухнул громовой удар; Прокофия окутал клуб дыма; как в тумане видно было, что его с силой отшатнуло назад и он исчез; ближайшую березу обсеяло как градом; с нее дождем посыпались листья.

Я бросился к Прокофию и увидал его поднимающимся с обалделым видом из папортников; картуз с

него свалился, волосы встрепались, ружье продолжало куриться и, к удивлению моему, дым шел из него не только из обреза ствола, а еще и двумя тоненькими струйками из боков близ мушки.

— Сучек, будь он проклят, под ноги попался! — пояснил Прокофий свое падение.

Пилат подал ему вдрызг расшибленную птицу. Прокофий принял сквозные останки ее с нескрываемой гордостью и удовлетворением; самолюбив этот человек был чрезвычайно.

— Вот вам и фузей! — торжествующе прогнусавил он, подняв тетерьку так, чтобы ее видел Дверев, и засовывая ее затем в висевшую у него через плечо сетку. — Что ни вдарит, то и наповал!... Необоснованный господин! — вполголоса добавил он, покосясь в сторону моего спутника.

Еще не было одиннадцати часов, когда мы, нагруженные добычей донельзя, вернулись к своей тележке; Прокофий запрег и мы повернули к проселку; там наш провожатый слез, получил на чай и мы отпустили его, предварительно обвесив со всех сторон косачами в дар Алексею Дмитриевичу.

Прокофий снял картуз, поблагодарил и, превращенный не то в огромную черную птицу, не то в Майн-Ридовского индейца, зашагал по направлению к усадьбе; собака, понурив голову, устало поплелась за ним.

## Глава 3

Лес и лес... нет ему ни конца, ни краю! Изредка выбежит дорога на обрыв, или взгорье, развернется зелено-синяя даль, блеснут озера, кое-где зажелтеют заплатки сжатых полей, и опять обступят великаны — сосны и ели.

За два часа езды навстречу нам не попалось ни телеги, ни души человеческой; зато часто, совсем близко, вскакивали зайцы и, топоча, уносились прочь.

За одним из оврагов началась земля имения «Сосновка»; принадлежало оно старинному роду Ветлуговских.

Это имение замечательное.

Оштукатуренный, старинный громада-дом в нем помнил еще времена Екатерины Второй. Обширный, как манеж, чердак его мог вместить и наполнить любую толкучку; старая мебель, сундуки с платьями дедов и прадедов, портреты, разрозненная посуда, книги — все это полтораста лет сносилось туда из дома и наполнило чердак по самую крышу. Ни одна душа из длинного ряда спесивых потомков не подумала заглянуть в это царство сумрака, паутины и мышей, и только в 1887 или 1888 году два кадета побывали в нем и не без волнения заглянули в один из сунду-

ков, стоявший раскрытым под разбитым слуховым окошком; верхние две трети наполнявших его бумаг оказались прогнившими до полной негодности; уцелевшая треть состояла из тетрадей подробнейшего дневника генерал-адъютанта Ветлуговского и пожелтевших черновых писем его к Павлу Петровичу с собственноручными ответами императора. На дне отыскался план царского дворца, нынешнего Инженерного замка, с нанесенной сетью внутренних и наружных караульных постов; около каждого из них Ветлуговским были сделаны примечания — зачем и в каком направлении должны были смотреть многочисленные часовые; часть этих указаний была зачеркнута и рукой Павла заменена другими.

Точно гномы в царстве прошлого при желтых огоньках двух фонарей, мы рассматривали этот план: из него глядело бледное лицо душевно-больного властителя полумира, каждую минуту ожидавшего появления убийц.

Уцелевшие письма рассказывали, что Ветлуговскому было дано знать из Петербурга об опасности, угрожавшей императору. Ветлуговский опрометью поскакал в столицу, но на заставе, по приказу Палена, его задержали, и верный до конца генерал-адъютант увидал своего повелителя уже мертвым...

Вот что вспомнилось мне, когда въезжали мы в узорно-железные, ржавые ворота усадьбы; около них густо разрослась сирень, среди зелени, на облупленных, кирпичных столбах покоились львы, грубо высеченные из серого камня и положившие скорбные морды на лапы. Прямо за задичавшей куртиной белел обширный, подстать двору, дом.

Давно, четверть века, не был я в этом имении. Теперь владел им Паша — мой однокашник по Арак-

чеевскому Нижегородскому корпусу. Помнил я его сверстником-мальчиком; был он невелик, худощав, чуть сутуловат, с черной бабочкой из волос на голове; недурное, тонкое лицо его портил кривой нос в виде извилины. Ходил семенящей, женской походкой, отличался почти обезьяньим проворством, ловкостью и смелостью, которую доводил до дерзости. Курса он нигде не кончил и учебных заведений переменил множество.

Отец его давно умер, и воспитывавшая его мать — женщина добрая, но недалекая, ничего не могла поделать с неукротимым сыном.

«Маленькие дети спать не дают, большие — жить не дают!» — не раз говаривала она, сопровождая слова свои вздохами, и крупные грузинские глаза ее, с коричневыми ободками, светились тоскливым недоумением.

За двадцать пять лет, что мы не видались, однокашник мой успел прославиться: это он при всей публике искупался в голом виде в аквариуме московского Эрмитажа и долго давал хороший заработок хроникерам московских газет своими бесчисленными похождениями и историями.

Из рассказов Дверева и моих личных воспоминаний чувствовалось, что этим человеком руководило отнюдь не желание начудачить, удивить кого-либо, так свойственное русскому человеку: его, как пьяницу к водке, стихийно тянуло к скандалу; обычно он скучал и не знал, что с собой делать, но как только в воздухе начинало пахнуть историей — он оживлялся, расцветал и чувствовал себя в своей стихии.

Хмельных напитков он и в рот не брал, о морфии и кокаине не слыхивал, в ресторанах спрашивал исключительно только Ланинскую воду, и никакая ком-

пания не могла заставить его изменить своему обычаю.

У старухи-матери его болели ноги, и она часто пользовалась креслом на колесах; однажды, пригретая солнышком, она заснула в нем в саду. Павел заметил это, потихоньку привел двух своих здоровенных страшил-бульдогов, подпряг их к коляске-креслу и атукнул. Собаки во весь дух понеслись по дорожке и вывалили где-то на клумбе напуганную до полусмерти старуху. Это была последняя капля, переполнившая чашу, и мать и дочь ее уехали от него в другое имение.

Ходил Павел всегда в поддевке, с нагайкой за голенищем; на конце ее, вместо пули, был в видах благородства, зашит фунт серебра.

Наивысшим удовольствием для Павла было кого-нибудь вздуть; злобы при этом в нем не было ни малейшей. Дверев поведал мне историю, свидетелем которой он сделался в Москве.

Он и Павел неожиданно встретились на Тверской и Павел потащил его в ресторан.

— До чего я рад, что тебя поймал! — говорил Павел: — я уже было захандрил в этой Москве! Чего желаешь — выпить, закусить?... Я угощаю!

— Ничего не хочу.

— Ну, шампанского выпей!

— Да кто же с утра его пьет?

— Ну, хочешь, я для тебя кого-нибудь вздую?

— Нет, ради Бога, нет!

— Ну, уж это никак невозможно!... — взгляд Павла приковался к соседнему столику, где за бутылкой легкого вина сидел с газетой в руках весьма приличный, осанистый господин.

— Послушайте, — обратился к нему Павел, — что вам за охота лакать эту дрянь?

— Прежде всего это не ваше дело! — возразил господин.

— Как не мое дело? — возопил Павел, — дерзости смеете мне говорить, пьяная морда! — И за нагайку. Господин за бутылку, повалились стулья, зазвенела посуда... Дверев кинулся наутек.

Из других источников знаю, что однажды Павел влюбился на ярмарке в Нижнем в молоденькую барышню и при объяснении в любви предложил ей в порыве восторга немедленно отлупить в ее честь кого она пожелает. Барышня поспешила исчезнуть.

— Уверяю вас, это не хулиганство, а мировая скорбь в арзамасском проявлении. Пашка по существу добр, ей Богу! — болтал Дверев, — Но он пророс убеждением, что высшая цель жизни — это езда верхом, а высшее счастье — лупка!... Миросозерцание вполне целостное! И наездник, и драчун он изумительный: современный Васька Буслаев!

— А как у него здесь? — осведомился я, указав на лоб.

— Слабовато... — ответил Дверев. — Да ведь это и у Васьки было дело третьестепенное...

К нашему разочарованию, хозяина дома не оказалось — он был в Нижнем. Встретивший нас на подъезде толстомордый, румяный лакей должно быть хорошо знал Дверева. Видя нашу заминку, он попросил нас войти в дом.

— Черт возьми, а ведь я голоден как волк! — заявил Дверев, передавая вожжи подбежавшему конюху. — Найдется что-нибудь закусить?

— Как же не найтись?... ответил лакей, принимая

наши ружья. — Барин огорчены будут, что не повидали вас.

Мы вошли в большую переднюю; со всех сторон ее окружали колонны; широкая лестница вела наверх.

— Пожалуйте-с! — повторил лакей, указав налево, и исчез за колоннами.

Мой спутник отворил противоположную дверь.

— Смотрите! — сказал он.

Я взглянул и не сразу сообразил, в чем дело. Передо мной безмолствовал совершенно пустынный зал; на стенах его золотой каймой тянулись ряды портретов; мне показалось, что на меня пахнуло конским потом.

Я поглядел на Дверева.

— Да, да, манеж! — заявил он, кивнув головой. — Здесь Пашка осенью и зимой карусели устраивает.

Мы вошли внутрь. От великолепного когда-то паркета следы сохранились только в углах; кругом стен большим овалом намечалась дорожка со следами конских копыт. Большинство портретов было издырявлено пулями: зал служил вместе с тем и тиром.

Мы притворили дверь и направились в указанном нам направлении.

В бывшей гостиной нас встретил хаос; мебель была сдвинута и расставлена кое-как, паркет местами был так переломан, что мы шли как по клавишам; было видно, что по нем гуляли подкованные лошади.

В той же комнате, на небольшом столике, в узеньких черных рамках стояли два фотографических портрета — дамы с грубоватым лицом в мужском костюме и лысого, как колено, пронырливого вида, господина с кривым носом.

Я всмотрелся в них.

— Неужели Павел?... — обратился я к своему спутнику.

— Да, — был ответ. — А это сестра его Нина — молодчинище: выпивает и-а-ах как; компанейская душа! Видите офицерскую фуражку в руке у нее — иного головного убора не носит! А про себя говорит — мы старые желтые кирасиры... Тип замечательный!

Между портретами на том же столике лежала половина арбуза.

Дверев поднял ее за сухой хвостик, напоминавший свиной; красная мякоть вся была вырезана.

— Это летняя шляпа Павла! — пояснил Дверев, — летом он в ином виде по уезду не ездит — говорит: свежий арбуз превосходно предохраняет от жары!

Несколько таких зеленых, но засохших шлемов валялось на креслах и на диванах — видно после отъезда барина руки прислуг ни к чему прикасаться не торопились.

В столовой уже суетился румяный лакей и накрывал для нас часть длинного стола из темного дуба.

— А книги у вас водятся? — обратился я к лакею.

Светлые брови его поднялись на середину лба.

— Книги-с?! — с недоумением в выпуклых глазах повторил он. — Нет, этого у нас нет-с!

Я откинул в сторону стремя английского седла, находившегося на кожаном диване, уселся и с наслаждением вытянул ноги. Дверев поместился рядом.

— Что же мы теперь будем делать? — спросил он. — Заночуем здесь, или дальше двинемся?

— Без хозяина ночевать неудобно!, — ответил я.

— Никак нет... — возразил лакей, прислушивавшийся к нашему разговору: — за обиду себе почтет

барин, ежели стеснитесь! Места же сколько угодно — по сту человек в старые годы гащивало!

Мы порешили остаться.

Обед, состоявший из яичницы и пары наших тетерек, подан и съеден был быстро. Чтобы убить время, мы обошли двор, побывали на конюшне, где в образцовом порядке стояли английские скакуны, прошлись по запущенному парку.

Закат солнца застал нас на невысоком, обнаженном холме; в полуверсте, отражая огненное небо, словно окно в преисподнюю, пылало длинное озеро; на нем, близ берега, шевелилась какая-то темная полоса: оттуда доносился гомон.

— Это утки, — произнес Дверев, заметив направление моего взгляда: — ученье молодым производят.

Не успел я ответить — от воды стала отделяться черная, сплошная пелена; донесся грохот и свист крыльев тысяч птиц, и стая, будто извилистый поток из просыпавшегося с неба бисера, вытянулась высоко в воздухе, описала над озером круг, разорвалась сперва на два, а затем на множество отрядов и будто размеренные, стройные воздушные эскадроны понеслись в даль один за другим; едва заметные точки заворотили назад, ширкнули вверх, вниз, сделали несколько перестроений, свились в одну густую спираль и с гулом, словно развалившееся здание, стали рушиться на воду; сажени на две вверх взметнулись брызги и как туман закрыли на миг место осадки. Тотчас же в разные стороны змейками потянулись к береговым камышам утки: ученье было окончено.

Краски неба померкли; озеро казалось громадным ложем из розового мрамора; поверхность его стала пустынной.

Через завечеревший, засыпавший бор мы верну-

лись в усадьбу. Самовар кипел; на столе были приготовлены закуски; в окна глядели сумерки. Разговор, как это случается под вечер, зашел о всякой чертовщине.

— И про здешний дом худая молва идет! — сказал между прочим Дверев.

— Какая? — поинтересовался я — Привидения являются или странное что-нибудь происходит?

— Да многое говорят!... чушь, конечно, глупости, вздор бабий; ничего подобного нет на свете!... — он замолчал и стал допивать свой стакан. — Пора, однако, и спать хорошим людям!... — сказал, докончив: — завтра опять с зорькой подымемся!

Мы зажгли приготовленные для нас свечи и пошли по местам; постели нам были устроены в двух смежных комнатах, на диванах.

Помню только красный огонек папиросы Дверева — я уснул, должно быть, мгновенно.

Среди ночи я пробудился. Комнату ошаривали красноватые отблески будто от недалекого пожара; они двигались по стенам, по спинкам стульев, по вещам — казалось, все кругом ожило, зашевелилось и куда-то движется. Но понимая, что происходит, я соскочил с дивана и распахнул окно.

Сад стоял черной, оцепенелой крепостью с зубцами и башнями; местами в них как будто горели раскаленные угли; на небе полукругом вскидывались, падали и переплетались столбы и снопы неземного огня.

— Что это?!... — проговорил за мной заспанный голос Дверева. Он стоял в одном белье; на груди и руках его то проступали, то исчезали багровые пятна.

— Отблеск северного сияния... сполохи!... — отоз-

вался я, любуясь этим, очень редким и по времени года и по месту, зрелищем.

Мимо беззвучно мелькнула и села на дорожку, почти около нас, пара совок; из глубины сада послышались озабоченные переговоры многочисленных галок, пробужденных полуночными огнями; где-то глухо ухнул филин. Мне показалось, что Дверев незаметно перекрестился.

— Заприте окно!... — сказал он, — еще сюда влетит эта нечисть!

Долго, не отрываясь, глядел я на игру и переливы сполохов. Мой вольнодумный днем спутник ушел спать, и я видел как он выпрастывал руку из-под одеяла и торопливо крестился всякий раз, когда в саду раздавался то смех, то стоны встревоженных ночных птиц.

## Глава 4

Утро встало пасмурное, серое. Лакей не разбудил нас вовремя, и мы только в восемь часов взобрались на свою бричку.

— А ведь будет дождь!... — заметил Дверев, оглядывая небо.

— Поморосит немного, побрызгает!... — ответил я: — что за беда?

Дверев молча дернул вожжи; мышастые бодро вынесли нас за ворота на дорогу.

Через полчаса дождь стал усиливаться; Дверев надел резиновую непромокайку, я завернулся в бурку; об охоте, явное дело, нечего было и думать!

Дверев, сидевший с лицом убийцы и все время безмолвствовавший, вдруг оживился.

— А знаете что? — сказал: — чем мокнуть как дуракам, заедем-ка мы к князю Тулубаеву!

Фамилия эта была известна широко: князь считался сильнейшим и невозмутимейшим человеком в губернии; сила его была такова, что он не мог носить серебряных портсигаров, так как сам того не замечая сминал их пальцами; портсигары делались для него по особому заказу из котельного железа.

— Что ж, деваться куда-нибудь надо... — согласился я. — Он, кажется, тоже земский начальник?

В глазах моего спутника заиграли веселые чертики.

— Да! — отозвался он. — Может быть на наше счастье суд у него сегодня.

— А причем «счастье»?

— Да уж там увидите!... Островского вы читывали?

— Очень его люблю.

— Ну, так живьем из него сценки будут. В Москву в Малый театр ездить незачем, ей Богу!

— А он Островского читывал?

— Он?!... — закричал Дверев. — Да он во всю жизнь книги ни одной не раскрыл, самородок настоящий!

На одном из перекрестков Дверев свернул вправо, в сторону от озер. Дорога стала понижаться, появился березняк и кое-где осинник; шелест дождя стал слышаться явственнее.

Дверев казался отлакированным.

— П-п-аршивое пальто!! — с чувством произнес он, поежив плечами: — по всем швам течет... не промокает только дома на вешалке!...

Впереди зажелтели сжатые поля; они подступали к зеленому прямоугольнику, — саду, из которого выглядывали крыши усадбеных построек.

По дороге впереди нас ходкой рысью поспевала пара телег с мужиками; Дверев мотнул в их сторону головой.

— Есть сегодня суд!... — сказал, — запоздалые катят!

Мы догнали их; мужики оглянулись, увидали нас и дали дорогу; все снимали шапки и кланялись.

— Что, братцы, на суд едете? — крикнул мой спутник.

— Так!... судиться!... — отозвалось несколько голосов.

В деревне, через которую пролегала дорога, чувствовалось некоторое оживление; ворота многих дворов стояли распахнутыми, виднелись распряженные телеги приезжих; в отдалении, около ворот усадьбы, пестрела бело-черная кучка мужиков и баб.

Барский двор, видимо, когда-то знал лучшую жизнь; теперь от него дышало запустением. Желтый, с белым карнизом величавый дом опирался мезонином на четыре высокие, толстые белые колонны и казался исковырянным; крайнее окно было забито досками.

Дверев передал лошадей какому-то франтоватому малому в жилетке с серебряной цепочкой поверх красной рубахи; сапоги-бутылки его были ярко начищены, светлые волосы смочены квасом и расчесаны на прямой пробор.

Вместе с несколькими крестьянами мы вошли в дом, миновали полутемную, мрачную переднюю и попали в большой зал; в одном конце его, на помосте, находился накрытый красным сукном стол с золоченым зерцалом; за ним, будто трон, четко очерчивалось резное кресло с высокой спинкой; перед возвышением теснилось десятка два простых длинных скамеек; их заполняли люди; мы направились к заднему ряду; там потеснились и дали нам место; князь еще не появлялся.

Я огляделся; на простенках между окнами, выходившими в сад, кое-где висели в старинных, золоченых рамах портреты былых владельцев, строго взиравших на неподобающую толпу, забравшуюся в зал; на стене за судейским столом находились два олеогра-

фические, плохо выполненные портрета царя и царицы, совсем не подходившие к обстановке.

Присмотревшись ближе, я убедился, что все кругом, показавшееся мне сначала величественным, было запущено и ветхо, свидетельствовало об умирании...

Публика, среди которой виднелись две-три городские чуйки, шепотом переговаривалась и откашливалась в кулак; вновь появлявшиеся старались идти на носках.

Вдруг все сидевшие стеной поднялись с мест и отвесили поясной поклон: на возвышение, с золоченой судейской цепью на шее, в темносиней поддевке, всходил Тулубаев.

Ростом он явно превосходил дядю Колю и был моложе его; бросалось в глаза несоответствие между коротко остриженной маленькой головой и остальными мощными размерами его тела; густая борода черной площадкой спадала на грудь; небольшие глазки и склад лица сразу выдавали татарское происхождение предков князя: до полного сходства не хватало только тюбетейки.

— Здрэвствуйте! — совершенно по-пшютски, ленивым тенорком ответил он на общее приветствие. — Сэдитесь!

Толпа опустилась на скамьи и замерла.

Князь взял с пачки лежавших перед ним прошений верхнее.

— Дело по искю Петра Сидорова с Ивана Поликарпова пятнадцати рублей... — произнес он.

Среди крестьян произошло движение; двое встали и начали пробираться к судейскому столу; один был невысокий, плотный и благообразный старик с глазами хищной птицы; его облекал долгополый кафтан; другой был худощавый, малый, молодой, загнанного

вида; из дыр его коричневого рваного армяка проглядывала белая рубаха.

— Кэк хэтите судиться — по законам, или пэ совести? — спросил князь.

— По совести! — торопливо отозвался молодой. Противник его на минуту замялся, откашлялся и покосился на публику.

— По совести-с!... — повторил и он. Приметно было, что совесть вообще была ему не особенно по душе.

— Хэрэшо, — согласился князь. — А вы все знаете, что мой совестный сюд обжэлованию не подлежит? — обратился он ко всем явившимся.

— Знаем, знаем! — раздалось отовсюду.

— Ну, рассказывай свое дело... — он обернулся в сторону молодого.

Тот смутился, дернулся, краска пятнами проступила на его лице.

— А в прошении моем усе сказано... — бормотком ответил он.

— Я прошений не читэю! — возразил князь. — Мало ли что там стрекюлисты понапишут, а я читать стану?

Запинаясь и смущаясь, малый объяснил, что был нанят Поликарповым на работы, и тот не доплатил ему исковую сумму.

— Почему не доплэтил?...

— Да за что платить то, ваше сиятельство! — воскликнул старик и хлопнул себя руками. — Нешто это работа с его стороны была, — одно касательство! По правде то не я ему, а он мне доплатить должон, что я кормил-поил его: с голоду ведь дох!...

— Мэлчи!... оборвал его князь. — Что ты растэрэхтелся как телега немазанная! Свидетели, сюда!...

Вышло по два с каждой стороны; приведенные стариком показали, что истец работник плохой, и большей расценки, чем сделанная при рассчете, он не заслуживает.

— А ты его зэ глаза нанимал, или из Москвы выписывал? — спросил князь.

По залу прокатился легкий смешок — настроение публики, видимо, было не в пользу ответчика.

— Да здешний он! — ответил старик, не поняв иронии.

— Что же, болел Сидоров, на работу не хэдил? — обратился князь к двум другим свидетелям.

— Ходил, ходил! — в один голос отозвались они: — это уж что понапраслину взводить; от работы не бегал!

— Да, ваше сиятельство! — уже возопил ответчик, — нешто им возможно веру давать? Сами то они...

— Мэлчи, дурак!... Это мое дело судить кто они!... — попрежнему невозмутимо произнес князь. — Определяю: Поликарпову немедленно уплэтить Сидорову восемнадцать рублей — пятнадцать заработанных, да три рубля штрафу. Берегись!... впредь не жульничай!

У старика и рот разинулся; он хотел что-то возразить, но князь погрозил пальцем.

— Без рэзговоров!... Благодари Бога, что деньгами отделался! Еще раз такая жалоба поступит, — за бороду тебя, старого жмота, при всех оттэскаю!...

Старик осекся, торопливо и молча отвернул полу кафтана и полез в карман. Денег у него не хватило; он занял недостававшее у своих, тоже озаботившихся и засуетившихся, свидетелей, потом подошел к столу и положил бумажки около чернильницы.

— Получайте-с!... — сказал, поклонился и пошел

из залы; свидетели все четверо вернулись на свои скамейки.

— Вэзьми!... — приказал князь Сидорову.

Тот с оживившимся, радостным лицом сгреб деньги, отвесил низкий поклон и заспешил уйти. В дверях он остановился, оглянулся и опять поклонился. — Прощайте!... — сказал и скрылся.

— Дело об избиении Федора Мэрьяшева Михэйлой Чугуновым... — объявил князь.

Опять зашевелилась толпа; из нее выбрался здоровенный молодой верзила, с только еще начавшей пробиваться рыжеватой бородкой; выражение лица и светлых вылупленных глаз его было наглое и вызывающее; пострадавший оказался пожилым мужиком небольшого роста, темноволосый и бородатый.

— Как желаете судиться? — задал князь тот же вопрос.

— По совести! — отозвался пожилой.

Верзила стоял, уперев одну руку в бок; другая поигрывала клочком волос на подбородке.

— Это на что же? — возразил он, — желаю по закону!

Публика всполохнулась и опять замерла: такие ответы здесь, видимо, были в диковинку. Князь насупился.

— По зэкону захотел? Смотри, зэкон никого не помилует, а я милую!

— Желаю по закону!... — упорно и дерзко повторил верзила.

— Хорошо... разберу по закону... Фома!

Из боковой, низенькой двери, находившейся почти рядом с помостом, показался кривоногий и кособокий старичек в замызганном сером пиджаке; за ухом его торчало перо.

— Принеси зэконы! — распорядился князь.

Старичек скрылся и через несколько минут в зал вдвинулась высокая башня из всех шестнадцати толстенных томов российского свода; видны были только колесо из ног под ней да пара рук, обхватывавших ее. Башня приблизилась к судейскому месту, накренилась и книги со стуком и гулом посыпались и поплыли к ножке стола.

Освободившийся Фома отыскал в груде какой-то том, подал его князю и принялся складывать остальные стопкой.

— Зэконы здесь!... — произнес князь. — Что произошло, рэсскэзывай!

Дело для современной деревни было заурядное: здоровенный детина из озорства и бахвальства в кровь поколотил на сходе своего слабосильного противника.

Князь выслушал стороны и свидетелей.

— Тэ-э-к!... — протянул он: — пэсмотрим, кэкие законы понадобятся...

Он развернул книгу.

— «Положение об императорской фэмилии»... — вслух, медленно прочитал он и поднял глаза на драчуна. — Ну, ты не фэмилия!... «Учреждение министерства Двора»... и это к тебе не относится!...

Князь, не торопясь, перелистывал страницу за страницей.

— «Учреждение Государственного Совета»... и это не подходит... Видишь, сколько книг приходится пересмотреть, а люди из-за тебя до полуночи сидеть здесь будут?

В толпе послышался протестующий говор, направленный против детины, а князь невозмутимо продол-

жал читать раздел за разделом о сенате, о министерствах и т. д.

С час, не менее, тянулось это гудение; мужики дошли до одури.

— Да чего его слушаете?! — раздались наконец негодующие голоса: — законов эстих в месяц не перечесть; ну их в болото!... По совести суди, твое сиятельство, некогда нам!

— Не мэгу! — возразил князь, — сами слышали: зэконы потребовал, то его право!

Он опять наклонился над книгой, но гул возмущения заглушил чтение.

— Да бока намять этой дубине!... — послышались выклики: — погоди, черт, выедем отседа, поглядим по каким правам тебе судиться!

Все время развязно державшийся детина несколько струхнул: вспомнил, должно быть, овраги на обратном пути. Он заколебался.

— Да я пожалуй... по мне что-ж!... — заявил наконец он. — Как, значит, желаете, так и судите, я согласен! Ведь не я драку начал, Федор первый полез, он зачинщик!

Князь отложил книгу в сторону.

— Тэк по совести теперь разбора просишь? — спросил.

— Так точно!...

— Хорошо...

Князь поднялся во весь гигантский рост свой, сошел с возвышения и, не торопясь, направился к детине; тот начал сереть и подался назад. Зал зачуял надвигавшуюся грозу и замер.

— Ты что же, хулиганить, сукин сын, у меня в участке вздумал?... — невозмутимо произнес князь. — Шутки шутить, полагаешь, я с тобой буду, а?... —

он не размахнулся, а лишь приподнял руку; раздался глухой шлепок, затем грохот упавшего тела, и верзила очутился сидящим на полу с очумелым видом.

— В другой раз попадешься — убью подлеца и в ответе не буду! — не повысив голоса, но с грозной ноткой в нем, пообещал князь. — Вон, с глаз долой!

Детина был бледен как стена; он оперся трясшейся рукой на колено соседа и сделал попытку подняться, но не смог; ему пособили и вывели наружу.

Князь сел на место и суд продолжался; о законах никто больше не упоминал и дела катились одно за другим легко и быстро.

Князь снял с себя цепь, встал и пошел во внутренние комнаты; толпа повалила к другому выходу; я и Дверев оказались среди нее.

— Это вот суд!... — слышались довольные голоса. — Этот в дело вникает!

— Закон что дышло — куда повернул, туда и вышло!... — рассуждали дальше: — другие земские пишут и пишут и шут их знает чего понапишут, а ты потом из-за них по десять раз в город катай!... А тут без волокиты, сразу!

— Ну и здоров! — восторгался шедший рядом со мной бородач. — Уж на что великатно, ладошкой поучил, а и то как косой срезал!

В передней нам попался Фома и провел нас в столовую.

Князь поднялся с широкого серого дивана нам навстречу, и мне почудилось, что встала статуя командора.

Дверев познакомил нас; моя рука совершенно исчезла в чугунной длани князя, но пожатия с его стороны не последовало: он их не делал, опасаясь раздавить чужие кости.

Был уже полдень и хозяин пригласил нас пообедать с ним. Дверь в соседнюю просторную комнату была открыта и оттуда несся гам и пение многочисленных птиц; от нас они отделялись веревочной сеткой, спускавшейся с потолка; в их помещении высились два сухих, ветвистых дерева; пол был посыпан песком; с сучка на сучок перелетали, блестя ярким оперением, десятки щеглов, чижей и всевозможных певчих пичуг.

— Люблю!... — вымолвил князь, чуть кивнув головой в их сторону.

Мы сели за стол. Обед нам подали сытный и жирный; хозяин ел много и молча пододвигал то ко мне, то к моему соседу блюда с жарким. Разговор не клеился; каждое слово надо было извлекать из мощной груди князя чуть не клещами; какая то далекая, затаенная ирония чувствовалась мне в его коротких ответах и даже в глазах.

Дверев попросил разрешение для меня осмотреть дом и, отбыв обед и чаепитие, мы все втроем пошли вкруговую по старым аппартаментам, еще хранившим местами следы былого величия в виде остатков позолоты и резьбы на дверях и карнизах; князь был холост, и запустение глядело изо всех углов.

— Настоящий тронный зал у вас! — сказал я, очутившись в знакомой камере.

— Да... — отозвался хозяин. Ступал он грузно и лениво, паркет под ним похрустывал: — когда то мои предки судили здесь своих крепостных.

— А теперь вы действуете? — подхватил Дверев.

— А теперь я действую! — повторил князь.

— Вы не охотник? — спросил я.

— Нет... птиц люблю!... все моей ловли...

— Жаль их в неволе держать!

— А разве есть воля?... — как будто наивно, но с усмешкой в глазах, спросил князь.

Мне вспомнилась история, приключившаяся с ним в Петербурге и оттуда сделавшаяся известной всей губернии.

Денежные дела князя были неважны; имелись у него кое-какие бриллианты и фамильное серебро и он, наконец, собрался заложить их. Чтобы жулики не польстились дорогой на его богатства, он засунул их в мешок из-под овса, завязал его веревкой и благополучно приехал в Питер. В гостинице он помылся и в своем неизменном кафтане и с мешком в руке пошел мимо Казанского собора по Невскому к Ссудной казне. Нести мешок на весу оказалось неудобным, и князь ничто же сумняшеся взвалил его на плечо. Идти было недалеко. Гигантская фигура его обратила на себя внимание не только гулявших, но и полиции. Его остановили.

— Кто такой? — спросил полицейский.

— Князь Тулубаев! — был флегматичный ответ.

Городовой изумился.

— А в мешке у вас что?

— Не твое дело!...

Князя попросили в участок и там дежурный потребовал от него паспорт.

— У меня его и не было никогда, — заявил князь.

— Как так не было? По какому же документу вы проживаете?

— Ни по какому... меня и так все знают.

— Да вы бродяга, стало быть?... Ваша фамилия?

— Князь Тулубаев.

— Не похоже... а в мешке у вас что?

— Мои вещи.

Мешок был развязан и, к изумлению полицейских,

в нем среди трухи оказались драгоценности. Вызван был пристав.

— Арестовать его! — приказал он.

Околодочный сел писать протокол.

— Пишите, — согласился князь, — только поскорее, мне некогда!

— На кого вы можете сослаться, кто вас знает?

— Все меня знают.

— Кто же именно?

— Да все... Столыпин, например!

— Какой Столыпин?

— Петр Аркадьевич.

— Председатель Совета министров?

— Ну, да!... Кривошеин знает, Ермолов, великие князья...

У околодочного и перо выпало из рук; он бросился к приставу; тот вызвал по телефону градоначальство, был запрошен Столыпин, и из трубки раздался голос премьер-министра.

— Какой это Тулубаев: громадный в поддевке?

Все в участке стали навытяжку. — Так точно, ваше высокопревосходительство!... отчеканил пристав.

— Нижегородский, арзамасский?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— Что же он сделал?

— В мешке из-под овса бриллианты на плече по Невскому нес!

В трубке послышался смех.

— Выпустить немедленно! Это мой приятель!

Пристав метнулся к невозмутимо сидевшему арестанту.

— Ради Бога извините, ваше сиятельство!... недоразумение... вы свободны!

— Ага, видите, я прав! — И князь беспрепятствен-

но, под козыряние городовых, вышел в широко распахнутую перед ним дверь со своим мешком на плече.

⁂

На дворе, между тем, начало разъясниваться и мы стали благодарить хозяина за гостеприимство.

Князь не удерживал; видно было, что ему скучно и что он привык хорошо поспать днем.

Опять последовало прикосновение к чугунной длани, и мы взобрались на поданную к крыльцу бричку.

— Заезжайте!... — равнодушно проговорил князь. Лошади дернули и он, не дожидаясь больше, повернул нам широченную спину и ушел в дом.

— Интересно? — кратко обратился ко мне Дверев, когда мы уже катили по дороге.

— Очень! — отозвался я — Ведь это номад, кочевник времен Чингиза, перенесенный в наши дни!

Дверев отрицательно махнул головой.

— Просто дуб, идол с кургана!... Сажень с вершком в нем — вы это чувствуете?

— Не так прост этот идол, как вы полагаете... — возразил я. — Что-то в нем есть... и прежде всего презрение ко всему и к нам с вами!

— И любовь к чижам? Да мне тьфу на все его чувства! — Дверев сочно плюнул.

— А вот сейчас мы с совсем в иной мир нырнем... в потусторонний!...

## Глава 5

Десять верст, считавшиеся до имения Василия Казаринцева — сына Алексея Дмитриевича — мелькнули незаметно; дорога все время вилась около озер и то и дело показывались либо клочки их, либо далекий простор. Дул ветер; на небесном глобусе, словно проливы среди материков, засинели просветы.

Разговор наш все время вертелся около молодого Казаринцева; в уезде он пользовался исключительной славой — уверяли, будто он мог вызывать мертвых; говоря о нем, хотя бы за тридевять земель, невольно понижали голос, как это бывает при беседах о сверхъестественном. Жил он совершенно один на хуторе; с отцом не ладил, у соседей или в городе показывался редко. Лет ему было под тридцать. Роста, как все Казаринцевы, был крупного, но физической силой не обладал, казался вялым, мягкотелым. Чертами лица походил на мать; портили его только глаза — тяжелые, желтые как у ночной птицы; останавливать их на собеседнике он избегал. Часами он мог просиживать, сгорбясь и молча, услав взгляд в потусторонний мир; случалось в такие минуты он иногда вдруг произносил: «А завтра там-то пожар будет!...» И, действительно, на другой день совершалось предсказанное. Или — поглядев на кого-либо, он потом сооб-

щал своим близким, что такой-то скоро умрет; неизменно сбывалось и это.

Крестьяне считали его колдуном.

Гипнотической силой и ясновидением теперь, конечно, никого удивить нельзя; было поразительнее другое: его боялись собаки. При появлении Василия Алексеевича в чужом доме они шарахались прочь, поднимали шерсть дыбом, забивались в углы или удирали. Ни одна собака, кроме своих, обтерпевшихся, на охоту с ним не ходила.

Нечего и упоминать, что отцовских наклонностей в нем не было и следа.

— Слушайте, — обратился я к своему, спутнику, — неужели правда, что он может вызывать умерших?

— Факт!... — с полным убеждением подтвердил Дверев. — Кроме себя, по крайней мере, еще с десяток очевидцев назову вам!

— Что же вам представилось?

— Какое там «представилось»! Въявь, как вас сейчас, видел!... Неприятная штука, могу сказать!

— Почему?

— Жутко! Знаете, в ту минуту я понял, что испытывают люди при разрыве сердца. Чуть было не сдох, ей Богу!

— Что же делал Василий Алексеевич?

— Ничего! Велел задумать лицо, которое я хочу увидать, сел против меня и ладони мне на колени положил.

«В глаза мне гляди, не отрывайся!...» — приказал. — А где тут, к шуту, отрываться: как приковал меня! Вижу, он все прозрачнее делается, словно в пары превращается; они зыблились, вверх восходили; сквозь них спинка стула дужкой обозначилась... одни

только ноги до колен остались; глаза сперва как две свечки горели, потом будто их за простыню перединули; пары начали синеть — клубиться... и вдруг из них нос крючек выдвинулся, потом борода острая... глянули глаза впалые, пронзительные, на подлокотники руки легли; кафтан из парчи зеленой, на плечах бармы, ну, словом, Грозный! У меня и дух перехватило... ни вскрикнуть, ни вскочить не мог — оцепенел! Все силы напряг и только ахнуть смог — все и пропало! Едва водкой отпился потом...

— А вы именно его задумали увидать?

— Его. Взбрело в башку, я и пристал к Василию: год просил и ругал!

— Нельзя ли будет устроить и со мной такой сеанс?

Дверев с видом сомнения поджал губы.

— М-м... не думаю!... во-первых, вас он мало знает, а во-вторых, он этого очень не любит: судороги с ним потом бывают; дня по два, по три разбитым себя чувствует...

Смешанный лес по сторонам делался все темнее и глуше — начали преобладать высоченные, седобородые ели; дорога местами проходила под ними, как под навесами; ни проезжих, ни прохожих не встречалось — их заменили тысячи белых грибов и рыжиков; лошади крошили их копытами на каждом шагу.

Мы остановили мышастых и в какие-нибудь десять минут наполнили отборными, душистыми грибами пол-брички.

— С собственным ужином приедем!... — воскликнул Дверев, став на подножку и любуясь нашей добычей. — Под водченку эдаким пузырем закусить... а?!

Версты через две, неожиданно для меня, открылась широкая прогалинка: на ней желтел деревянный,

одноэтажный, но довольно просторный дом с навесом над крылечком — жилище молодого Казаринцева. Ограда отсутствовала; близ дома жались конюшня, сараи и, должно быть, людская изба. Около нее поднялась с земли и залаяла пара собак.

Мы подъехали к безмолствовавшему дому, и я увидел выглянувшие из окошка темные усики и почти классическое лицо владельца.

— А!... — воскликнул он, узнав нас. — Вот это разумно!

Он скрылся и через несколько секунд уже здоровался с нами на крыльце; от избы спешил молодой здоровяк.

Казаринцев поручил ему лошадей и грибы, и мы вступили в крошку-переднюю, затем в комнаты. Все производило такое впечатление, будто хозяин живет на биваках и думает эмигрировать в Америку — до того не было никакого уюта и заботы о чем бы то ни было; мебели имелось немного — сборной и самой обыкновенной; полы были некрашены; между обтесанными бревнами стен виднелась пакля; кое-как были развешаны пара старинных сабель, два охотничьих ружья и револьвер; из соседней комнаты смотрели чьи-то фотографические портреты; там же, вдоль одного из простенков тянулась стоячая полка, набитая книгами; они в беспорядке валялись и на ковровом диване, и на столах; как я убедился потом, все это были романы «Света», «Природы и Люди» и всяческая переводная фантастика и приключения.

— А мы к тебе охотиться приехали! — возгласил Дверев.

— Милости просим, рад гостям! — ответил хозяин. Голос у него был глуховатый, но приятный. — Я еще одного компаньона жду!

— Кого?

— Нашего нового пристава, Сербовского?

— Усача?

— Его самого. Обещался ночевать у меня.

Дверев засмеялся.

— Это уж не охотник, а сам немврод!... — сказал он. — Везет нашему уезду на чудаков!

— Чем же он чудак?... удивился Василий Алексеевич.

— Да для тебя то, конечно, их нет! — ответил Дверев. — Вы его знаете? — обратился он ко мне.

— Нет, но в Нижнем был слушок о нем! Это тот, что приезжал убеждать губернатора, что с крестьян недоимки взимать не следует?

Дверев залился тоненьким смехом.

— Во, во, во! Он самый!

— Это не чудачество, это добросовестность!... — серьезно заметил хозяин.

— Донкихотизм, брат, донкихотизм!... — возразил Дверев. — Становой пристав в роли печальника о мужиках — да ведь от этого все куры полопаются от смеха! А карьера его вам известна? — обратился он опять ко мне.

— Нет. Из офицеров он, кажется?

— Офицер. Начал с полицмейстера чуть не в столице, потом скатился в исправники, а теперь, пожалуйте — становой пристав в Арзамасе! А двинуться мог, действительно, замечательно — ведь он с дворцовым комендантом, с Дедюлиным, на ты, однополчанин!... Я сам собственноушно слышал, как при высочайшем проезде Дедюлин звал его к себе, место обещал хорошее. И первый узнал его, обнял...

— Что ж это за притча такая?... — спросил я.

Хозяин сидел несколько нагнувшись вперед и дер-

жа руки опущенными между колен; глаза его были потуплены.

— Все проще простого, — проговорил он. — Сербовский целостная натура: главное в жизни для него охота и свобода! А где найти большее приволье, чем у нас?!

Часов около четырех дня из глубины леса заслышался звон колокольчика.

— Сербовский катит!... — заметил Василий Алексеевич.

Дверев вскочил.

— Идем начальство встречать!... — воскликнул он.

Мы все втроем вышли на крылечко и завидели разномастную пару лошадей; экипаж приближался странный, но в здешних местах нередкий — нечто вроде большой бельевой корзины на простом тележном ходу; из нее торчали две человечьи головы и одна собачья; ямщик помещался на поперечной доске, служившей облучком; некрупные, мохнатые киргизки доспевали бойко.

— С кем это он едет? — спросил я.

— Не знаю, — отозвался, всматриваясь, хозяин. — Никак, с дамой?

Действительно, на одном из закутанных в пыльники седоков белела женская, соломенная шляпа; на другом виднелась офицерская фуражка с желтым околышем.

— Жена это его, Любочка, должно быть! — заявил все знавший Дверев. — Ей Богу, она!

Ямщик лихо подъехал к крыльцу и остановил коньков.

Василий Алексеевич и Дверев сбежали по ступенькам и помогли выбраться даме из корзины, до половины набитой сеном. Военный ловко выскочил сам,

достал со дна ружье и обогнул телегу; держался он прямо, был высок, с густыми, как подусники, бровями и длинными, черными усами; казалось, они росли у него в два яруса — на лбу и на губе.

Василий Алексеевич и Дверев в это время почтительно прикладывались к ручке прибывшей.

— Рекомендую — моя жена, Любовь Ивановна!... — бархатным баритоном отрывисто произнес пристав, указав на нее. И сейчас же взялся за ус и кольцами накрутил его на указательный палец; вид у него был распорядительный и грозный.

— Ротмистр Сербовский! — отрекомендовался он мне, поздоровавшись с моими товарищами, звякнул шпорами и повернулся к ямщику.

— Жди!... — приказал он, — покормишь, и барыню назад отвезешь!

— Слушаюсь! — равнодушно отозвался пожилой рябой мужик в армяке.

— Как «барыню отвезешь»? — вмешался Василий Алексеевич. — Ведь вы же, надеюсь, заночуете у меня?

— Ей никак нельзя!... — отрубил пристав. — Завтра почта, дела есть спешные, отписки... чушь канцелярская! — Он снял фуражку, и голова его оказалась обритой наголо, как щеки.

— Я ведь письмоводителем у него!... — пояснила Любовь Ивановна. Голос у нее оказался приятный, лицом была бесцветна, с такими же, в гладь прилизанными волосами; голубые глаза ее отражали затаенную, пугливую ласковость; белая кофточка и все остальное на ней было простое и даже бедненькое.

— А!... не смею тогда настаивать!... — ответил хозяин.

Мы вошли в дом; в столовой нас уже ожидал

самовар и закуски; скатерти, конечно, постлано не было.

Василий Алексеевич попросил гостью быть за хозяйку, и та сейчас же заняла место за самоваром.

За чаем зашел разговор о любви. Мнения о том, что такое она по существу, были разные. Любовь Ивановна, когда ей предложили этот вопрос, слегка покраснела.

— Я не сумею определить!... — застенчиво отозвалась она. — Я не знаю... мне кажется, что настоящая любовь — это вечная забота.

Я поразился глубиной и правдой, таившимися в ее, таких простых, словах.

Мужчины, конечно, запротестовали. Она умолкла в смущении.

— У народа ведь нет слова любить, а есть слово жалеть... — как бы оправдываясь, добавила она.

Хозяин вскинул на миг на нее глаза и сейчас же опять потупил их.

— Это уж область христианства, Сергиев Радонежских и Серафимов Саровских! — заметил он. — Для нас высоковато, мы — люди грешные!

— Любовь прежде всего бессмертна! — приняв нешедший к нему глубокомысленный вид, сказал Дверев, — а христианство, несомненно, умирает!

Пристав скосил на него несколько выпученные, черные глаза и накрутил на палец правый ус.

— Философия — мать всех несчастий! — убежденно заявил он.

— Вечная истина не умирает! — возразил Василий Алексеевич. — Теперь мир болезненно отрешается от религиозных форм — и только!

— Вера ведь нужна нам, а не Богу; не Он, а мы делаемся от нее лучше... — как бы подумала вслух

Любовь Ивановна, и опять меня поразила проникновенность этой бесхитростной женщины в глубины духа: именно из таких скромных людей и выходят на Руси великие провидцы и подвижники!

Дверев почему-то заглянул под стол.

— А где же ваш пес? — осведомился: — вы, кажется, с собакой были?

Пристав вскочил.

— А, черт!!! — воскликнул он и, бряцая шпорами, устремился на двор. — Журфикс, иси! — разнесся зов: — Журфикс!

Через несколько минут Сербовский вернулся, ведя за новый, блестевший ошейник рыжего, ирландского сеттера; собака сопротивлялась; на пороге столовой она зарычала и с силой уперлась в пол всеми четырьмя лапами; шерсть на ней взъерошилась.

Пристав с недоумением выпустил ее из рук; сеттер метнулся прочь и забился под стул, на котором сидела Любовь Ивановна.

— Что с ним? с ума сошел он, что-ли? — проговорил пристав: — смотрите, и глаза совсем волчьи сделались! — Куш там! — прикрикнул он, заметив, что Журфикс поджал хвост и собирался улизнуть на двор.

Тот послушно лег и спрятал голову под платье хозяйки.

— А ну-ка, Вася, загипнотизируй пса! — попросил Дверев.

— Вздор мелешь! — недовольно отозвался Василий Алексеевич.

— Как загипнотизировать? — изумился Сербовский. — Собаку? Разве это возможно!

— Еще как! — подхватил Дверев: — в одну минуту уснет!

— Василий Алексеевич, покажите! — взмолился усач.

Тот стал отнекиваться, но дружные просьбы всех нас заставили его согласиться.

Журфикс был вытащен Сербовским из-под стула, и грозный окрик заставил вышколенную собаку остаться сидеть среди пола.

Желтые глаза Василия Алексеевича впились в нее.

Журфикс упорно глядел в противоположную сторону. Но вот, морда животного как магнит к северу, медленно стала поворачиваться к Василию Алексеевичу, отмахнулась как бы от мухи, потом слабее, в другой раз, и неотразимая сила слила его взгляд со взглядом Василия Алексеевича. Не прошло и минуты, как пес пошатнулся, веки его сомкнулись, голова повисла на бок, и он как безжизненный, с мягким стуком повалился на пол; белые зубы его чуть оскалились.

Любовь Ивановна вскочила и бросилась к нему.

— Он околел? — воскликнула она, став на колени и тормоша собаку.

— Спит!... — отозвался Василий Алексеевич. Глаза его сделались неузнаваемыми, почти черными.

Я и Сербовский осмотрели собаку; ее можно было мять, переворачивать — гипнотический сон был налицо.

Дверев, неоднократно видавший такие опыты, сидел, заложив большие пальцы рук за прорезы жилета, покачивал ногой и покровительственно улыбался.

— А ну-ка теперь с книгой! — подсказал он.

— Что такое с книгой, — спросил Сербовский.

Любовь Ивановна продолжала стоять на коленях

и, держа руку на собаке, подняла глаза на Василия Алексеевича.

— А вот что... — начал объяснять Дверев: — возьмите какую хотите книгу, разверните ее на любой странице и спросите его — что напечатано на такой-то и такой-то строке: без ошибки повторит слово в слово!

— Да не может этого быть! — еще более изумился Сербовский. Он взял с полки в соседней комнате какую-то книгу и подал ее жене.

— Проверим!... — сказал: — Любочка, погляди!

Та села и развернула ее.

— Страница сороковая, строчка седьмая... — произнесла, глядя то в книгу, то на Василия Алексеевича. Голова его была откинута на спинку кресла, глаза устремлены на книгу; я нервами чувствовал силу его напряжения; зрачки хозяина начали отливать дымно-фосфорическим огнем.

— «И жрец сказал: тайное не должно быть явным; непосвященные да не смеют проникать в сокровенное»... — раздельно и словно в отдалении прочел Василий Алексеевич.

Любовь Ивановна бросила книгу и встала.

— Это страшно! — как бы лишась голоса, сказала она: — буква в букву! Я боюсь вас! — Она поднялась, отошла в сторону и прижалась к косяку окна.

Несколько потемневшее лицо Василия Алексеевича начало проясниваться.

— Я не страшен! — отозвался он.

— Я слышал, что вы можете сделать и нечто большее, — осторожно намекнул я.

— Да, да! — подхватил Дверев: — может вызывать умерших.

— Нет, нет! — с испугом воскликнула Любовь

Ивановна и вытянула вперед обе руки: — Ради Бога не надо! — Лицо ее побледнело, под глазами обозначились синяки. — Неужели вы можете сделать и это?!

— Не знаю... — неохотно и неопределенно ответил Василий Алексеевич. — Во всяком случае довольно опытов, я устал!

Он подошел к собаке, поднял левой рукой ее морду, а правой провел от носа к ушам. Журфикс очнулся и сел; глаза его были мутны; через несколько секунд он встал и, пошатываясь, пошел к двери.

Подъем нервов действительно утомил Василия Алексеевича; он осунулся, сделался молчаливее.

— Любочка, тебе пора... — тоном приказа обратился к жене Сербовский.

— Да, да! — спохватилась она. — А когда ты, Костя, домой вернешься?

— Не знаю... какова будет охота.!.. через день... два... три!

— Как же со спешными бумагами быть?

— А перо у тебя зачем?... у нас почерки похожие, подмахни, и только!

— Но что же я отвечу губернскому присутствию и исправнику на повторные запросы?

— Что-нибудь... да ерунда, сама увидишь!

Во дворе неторопливо проговорил поддужный колокол, громыхнули бубенцы — ямщик подавал лошадей.

Вечерние краски расписали бледное небо; ели за поляной, казалось, вытянулись еще выше, сделались темнее; чем-то суровым и затаенным веяло от леса. Мы помогли Любовь Ивановне усесться в повозку.

— С Богом! — напутствовал ее Сербовский. — Не напутай, смотри, чего-нибудь, матушка!...

Ямщик зачмокал, густо залился колокол; белая шляпа Любовь Ивановны быстро стала удаляться от дома.

Позади меня что-то хлопнуло, грохнуло, и не успели мы оглянуться, мимо нас словно вышвырнутый вылетел из двери Журфикс и ринулся во всю прыть за уехавшей.

— Иси, иси! — завопил Сербовский, тряся кулаком. — Иси, каналья!

Но собаки и след простыл.

— Ах, проклятый! — волнуясь выкрикивал пристав: — неужто Любочка не вернется с ним?

Мы прислушались; заливной звон все удалялся и замирал в глубине леса, наконец стих совершенно; вдруг он ясно и четко раздался снова и так же внезапно оборвался.

— Горку перевалили! — произнес хозяин: — теперь уже наверно не воротятся.

Мы ушли в комнаты.

— Что же, тарарахнем, господа? — обратился хозяин ко всем нам; с отъездом дамы он, видимо, сразу почувствовал себя свободнее.

— Не повредит здоровью! Курица и та пьет... — согласился Сербовский. — Ах, как проклятый пес меня расстроил!

Дверев чему-то загадочно ухмылялся.

Василий Алексеевич открыл буфет и достал с полки бутылку с коньяком и другую с настойкой; вместо закуски он нарезал ломтиками лимон и посыпал их сахаром.

Я отговорился тем, что ничего не пью, и ушел в соседнюю комнату; там я зажег стоячую лампу, взял какую-то книгу и расположился с ней на диване. До

меня доносились громкие голоса товарищей и частое чоканье; разговор я слышал только отрывками.

— А не холодновато у вас в дому зимой? — поинтересовался Сербовский.

— Холодно! — ответил Василий Алексеевич. — С утра водкой греться приходится; волка здесь посели и тот запьянствует! Папашина постройка!...

***

— Понимаешь ты: лежачего не бьют! — уже на «ты» говорил некоторое время спустя Сербовский: — А помещик теперь на обеих лопатках лежит; как же я у него имущество буду описывать? Я сам дворянин:... Закон — вздор; честь и ум — вот главное!... — он ударил себя кулаком по груди.

***

— Силы много в вас, черти лесные!... — заплетаясь языком, пояснял Дверев. — А куда девать ее — не знаете! Шлюзов не имеете, вот где собака зарыта! Плотина без шлюзов.

— Зачем нам шлюзы? — возопил, стуча кулаком, Сербовский. — Была бы охота; больше ничего человеку не требуется! Понимаешь ты — честь и охота! И Бог! А все прочее химеры, философия... в ней корень всей глупости и разрухи!

— Величит душа моя Господа... — вдруг торжественно запел он. К нему присоединился фальцет Дверева.

Василий Алексеевич завторил глуховатым баском...

***

Уснули мы все, где кому довелось, в сапогах, не раздеваясь.

Охота на следующее утро была удачная.

Особенно много дичи взял Сербовский, оказавшийся замечательным стрелком; к сборному месту, на полянку, все мы явились обвешанные рябчиками.

День выдался жаркий; над бором, чуть звеня в иглах, тянул легкий ветерок.

Мы гуськом выбрались по траве на дорогу.

— Что это? — вдруг обеспокоился шедший впереди Сербовский.

Саженях в двадцати от нас стояла повозка, запряженная белой, развесившей уши, лошадью; на сиденье, откинувшись назад, серела какая-то гора; вглядевшись, я распознал в ней навзничь лежавшего толстого человека.

— Уж не убили ли его? — сказал Сербовский и быстро направился к бричке. Мы последовали за ним.

— Эй! — окликнул он, подходя ближе: — живая душа или нет?

Лежавший повернул в нашу сторону голову, и я узнал о. Ивана. Кумачного цвета лицо его было все мокро от пота — словно бы кто отряхнул куст после дождя ему на лоб.

— Его кондрашка хватил! — проговорил Дверев.

— Отдыхаю... из сил выбился! — прохрипел о. Иван. — Весь кнут исхлестал об эту треклятую лошадь!

Дверев присел, уперся руками в согнутые коленки и завизжал от восторга. Рябчики, висевшие у него на плечах, посыпались на песок.

— Чего сей ржет? — спросил Сербовский, с недоумением уставясь на Дверева.

— Дядюшки Алексея Дмитриевича подарки!... —

воскликнул тот. — Лошадь с ходом!!... — и он залился пуще прежнего.

Я рассказал Сербовскому и Василию Алексеевичу в чем дело, и хохот сделался общим.

О. Иван принял сидячее положение и отер лицо полой подрясника.

— Вам смех, а мне горе! — с полудосадой заявил нам. — Всю руку из суставов вывернул; пока хлещешь чертовку — шагает, перестанешь — и как вкопает ее!... Шесть верст три часа еду... три раза в поводу сатану, волок!

Хохот опять далеко разнесся по лесу.

В утешение о. Ивана мы набросали ему в повозку добрую половину нашей добычи. Встреча ли с нами, предвкушение ли вкусного обеда влили в него новые силы: о. Иван поднялся как медведь на дыбы, со зверским лицом схватил кнут и яростно принялся полосовать лошадь; левая рука его задергала вожжи.

Белая кобыла равнодушно пошевелила ушами, несколько минут подумала и двинулась тихим шажком.

Мы стояли и смотрели на представление; саженей через двадцать энергия о. Ивана изсякла. Он харкнул прямо на круп лошади, бросил вожжи и снова повалился на сиденье; кобыла немедленно вросла в землю.

Через несколько минут о. Иван вылез из повозки, взял лошадь под уздцы и поволок за собой. Поворот дороги скрыл от нас дальнейшие приключения злополучного путешественника.

Перекидываясь шутками, вернулись мы в усадьбу Василия Алексеевича и, отобедав у него, пустились опять в путь. К нам примкнул и Сербовский; ради охоты и компании он готов был немедленно ехать

хоть в Африку. На облучек за кучера бочком уселся Дверев.

С дядей Колей Сербовский знаком еще не был; по замысловатому выражению лица Дверева и веселым искоркам, начавшим мигать в глазах его, я догадался, что в нем зарождается проект какого-то подвоха под нашего нового товарища.

Часа через два показалось дупелиное болото, сад и дом дяди Коли.

Дверев натянул вожжи и остановил мышастых.

— Вы сходите здесь! — обратился он к Сербовскому. — Мы вкруговую поедем, а вы отсюда так прямиком через болото к дому и жарьте! Дупелей здесь миллион! Встретимся в усадьбе.

— Гут, как говорят французы!... — ответил Сербовский, вылез из брички и зашагал по кочкам. Не успели мы отъехать и полусотни сажен — бухнул его первый выстрел.

Дверев оглянулся и, усмехаясь, погнал коньков во всю прыть.

— Что вы затеяли, сознавайтесь! — спросил я.

— Да ничего!... — отозвался мой спутник. — Дядюшка терпеть не может, если охотятся без спроса на его земле! Выйдет забавно...

Дядюшка со всегдашней своей палкой в руке находился на дворе и, повидимому, был в духе:

— А-а... господа стрелки! — протрубил медный голос. — Каково поле было?

Бричка остановилась около него.

— Вы дома? — как бы удивляясь, спросил Дверев. — А я решил, что это вы дупелей стреляете.

Дядя Коля всколыхнул животом.

— Да когда я охочусь, сдурел ты, лопоухий! Да кто же стрелял? Где?

— Под горой, на болоте.

— Не бреши!

— И не думаю!... Слышите — опять выстрел! — Глухой звук, действительно, долетел до нас.

— Да какая же это свинья стрелять смеет? — начиная багроветь, спросил дядя Коля.

— Не знаю... Ростом с вас... здоровенный!

Дядюшка повернулся к нам спиной и заспешил в дом. Мы передали конюху лошадей, велели сдать на кухню привезенную дичь и заторопились за дядей Колей, нагнали его в саду. Он остановился на невысоком уступе горы, с которой вся низина была видна как на ладони, прикрыл от солнца глаза рукой и всматривался в приближавшегося и то и дело стрелявшего незнакомца.

— Как дома палит, каналья! — весь кипя, заявил дядя Коля. — И ведь совсем незнакомая рожа!

Дверев безмолвно пожал плечами и ухоронился за куст, находившийся сейчас же позади дядюшки. Из своего убежища он поманил меня пальцем, и я последовал его примеру.

Грянул опять выстрел и дядюшку взорвало, наконец, как паровой котел.

— Что за скотина стреляет?! — неистово провопил он в рупор из ладоней.

— Что за балда спрашивает? — долетел отдаленный, но тоже зычный ответ.

Дядюшка поворотил к нам лицо, не доверяя ушам.

— Что? — переспросил он, — кажется ругается?

— Не кажется, дядюшка, а прямо обкладывает! — скорбно-постно ответил из куста Дверев.

— Не сметь стрелять... отдуть прикажу!... — во все легкие заорал опять дядюшка.

— Сам тебе шею накостыляю! — прилетел ответ.

— Вот так фунт изюму! — совсем опешив и растерявшись сказал дядя Коля. — И ведь все сюда идет? Да кто же это такой? Словно бы офицер, а?

— Кажется, что так, — согласился Дверев.

— Чорта вы без спросу охотитесь? — прокричал опять дядя Коля, очень смягчив тон.

— Не орите зря, лопнете! — был ответ.

— Кирасирская фуражка, как будто? — утихнув и беспокоясь, спросил дядя Коля.

— Кирасирская? — подтвердил Дверев.

— Левей берите, левей!... там тропочка, — уже любезно крикнул дядя Коля: — не так круто подниматься будет... — Дядя Коля как взволнованный слон затоптался на месте. — Неловко ведь вышло, а?

Еще пара минут, и из обрыва показались два яруса усов, а затем и вся персона Сербовского; сетка его была полна дупелей.

Он подошел к дяде Коле, звякнул шпорами и приложил два пальца к козырьку.

— С владельцем имения имею честь разговаривать?

— Да.

— Па-азвольте представиться: Стародубский кирасир, ротмистр Сербовский.

— Очень рад! Сумской гусар, ротмистр Казаринцев.

— Весьма приятно!...

Оба откозырнули снова и дядя Коля весь расплылся от улыбки.

— Милости прошу! — сказал, указывая рукой на дом. — Пожалуйте откушать... полдник на столе! А за прием извините — шляется иной раз черт его знает кто!

И взяв гостя под локоть, он повел его из сада; увидав нас, он отрекомендовал гостю обоих.

— Мы знакомы, — ответил, крутя ус, Сербовский: — вместе приехали.

Дядя Коля остолбенел, заморгал глазами и, наконец, сообразил в чем дело.

— Да и паршивец же ты... щенок!... — сочно, но милостиво пустил он по адресу племянника. — Ну, погоди у меня! — он постучал палкой в землю и отправился с гостем дальше.

За полдником между старыми кавалеристами шли оживленные разговоры; назывались десятки фамилий, вспоминались общие знакомые и дела молодости; то и дело звенели стаканы с вином.

С разрешения дядюшки Дверев послал рабочего к Алексею Дмитриевичу за обещанной собакой. Его все время подмывало нетерпение увидать поскорее дядюшкин подарок.

Несмотря на близкое расстояние между имениями, телега вернулась только под самый вечер; на облучке сидел посланный человек.

Мы с Дверевым прогуливались в это время по двору.

— А где же собака? — воскликнул, оглядываясь, мой спутник.

— Здесь, на телеге! — презрительно отозвался посланный.

На соломе в ней, действительно, недвижно лежала собака.

— Что она сдохла, что-ли? — обеспокоился, подходя ближе, Дверев.

— Такая не сдохнет!... — ответил рабочий. — Зверь, а не собака, истинный крест! Три часа впяте-

ром вокруг ей ходили: насилу заарканили — живьем жрет, истинное слово! Зануздать должны были!

Морда собаки была завязана; поперек рта торчала палка.

Мы втроем вытащили из телеги глухо рычавшую собаку и положили ее на траву.

Перед нами был великолепный, рослый белый лаверак, как обрызнутый мелкими, коричневыми пятнами.

Дверев стоял, расставив ноги.

— Что же с ним теперь делать! — глубокомысленно произнес он.

— Утопить! — убежденно сказал рабочий: совсем ни к чему животная!

— Мели еще... — недовольно возразил Дверев. — Надо развязать.

— Убежит! — воскликнул рабочий.

— Да ведь не век же ее связанной держать, — резонно заявил Дверев.

Он побежал в дом и вернулся оттуда с намордником, ошейником и цепью. Дрожавшую собаку огладили, обрядили во все принесенное и развязали ей ноги. Она поднялась, рванулась было прочь, но убедилась, что это бесполезно, и начала огрызаться; глаза ее сверкали.

Я оставил Дверева укрощать свое приобретение, а сам вернулся в дом и присоединился к беседовавшим.

***

Утром я и Дверев простились с милейшим крикуном дядей Колей и Донкихотом в полицейском мундире и укатили в Арзамас. Между нами сидел коротко

привязанный к облучку лаверак Алексея Дмитриевича.

— Да помилуй, да зачем ты, лопоухий, эту пакость везешь? — гремел, провожая нас, дядя Коля. — Да черт же это, а не собака! Загрызет тебя того и гляди!

— Ничего, огорчу дядюшку: справлюсь, выдрессирую! — самонадеянно ответил мой спутник.

— Курносого не ждите, и без него приезжайте! — напутствовал меня дядя Коля. Он и Сербовский помахали нам белыми платками, и выступ сада закрыл их.

Миновала низина со знакомым дупелиным болотом, березняк, начался бор. Время в разговорах бежало быстрей мышастых, и неожиданно, словно зубчатый, сказочный терем, вырос перед нами на синем небе Арзамас. Опять загремел деревянный мост, потянулись сады и маленькие домики; на соборной площади Дверев остановил лошадей. Я поблагодарил его за компанию и хорошо проведенное время и направился к знакомым, у которых имел приют. Там уже увидали меня из окна и ждали, широко открыв дверь.



Дела задержали меня в городе еще на несколько дней.

Однажды утром, на спуске к реке я увидал странное зрелище: навстречу мне, нагнувшись, с усилием шел Дверев; за спиной у него торчала двухстволка, через плечо была перекинута веревка, и он, как бурлак барку, тащил за собой лаверака; тот ехал за ним, сидя на хвосте и крепко упираясь в землю передними лапами.

— Куда Бог несет? — окликнул я приятеля.

— На охоту! — отозвался Дверев. — Фф-ух!... Здравствуйте! — Он вытер платком с синей каемкой пот со лба и потыкал пальцем на лаверака: — Вы думаете, это собака? Это дьявол, честное слово!...

— А что, все упрямится?

— Это бы еще туда-сюда! — воскликнул Дверев: — решительно все наоборот, анафема, делает!

— Как наоборот?

— Да так!... видите — теперь стоит на четырех лапах, а чуть тронешься с места — сядет, убей ее гром! Со двора в комнаты силком не втащишь, а гадить обязательно в дом идет!

Я засмеялся.

— Да охота вам с ней возиться? — сказал я. — Отвезите ее назад вашему дядюшке!

— Он вчера был у меня! — оживившись, ответил мой собеседник. — Я сказал ему про собаку, а он и руки к небу воздел... Ну, вот, говорит, и горько эдак — так я и знал! Испортил великолепное животное!... Давай после этого вам с попом что-нибудь порядочное!

Ну, да пусть погодит: я драгоценного дядюшку еще так подведу, что ну-ну!!

Удалось ли Двереву устроить обещанное «ну-ну» Алексею Дмитриевичу и в чем оно заключалось — не знаю; на другой день я уехал в Нижний.



Шумите ли еще вы, вековые леса? Звоните ли, колокола Арзамасские?!

Рига, 1927 г.

# VICTOR KAMKIN, Inc.

*Publishers • Booksellers*

**1410 COLUMBIA ROAD, N. W. – WASHINGTON, D. C. 20009 – NORTH 7-0690**


## ИЗДАНИЯ НАШЕГО КНИЖНОГО МАГАЗИНА

1. АВЕРЧЕНКО Аркадий — Избранное. Рассказы. Издание РАСПРОДАНО.
2. АДАМОВИЧ Георгий — Комментарии. Наследство Блока. Поэзия и эмиграция. Невозможность поэзии. 208 стр. 3.00
3. АЛЬТШУЛЛЕР Г. — Дело Тверитинова, истор. роман. Книга 1. 294 стр. 3.25
4. — То же. Книга 2. 316 стр. 3.25
5. БУТКОВ В. — Творчество М.Ю.Лермонтова (Расширенный доклад, прочитанный в нашем магазине). 80 стр. 1.50
6. ВРАНГЕЛЬ Л. баронесса — Воспоминания и стародревние времена. Издание РАСПРОДАНО.
7. ВЕРТИНСКИЙ Александр — Песни и стихи. Издание РАСПРОДАНО.
8. ГЕРШЕНЗОН, М. — Социально-политические взгляды А.И.Герцена. 32 стр. 1.00
9. ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН — Собрание сочинений, под ред. В.Ф.Саводника. Вып. 11. О национальном значении творчества А.Н.Островского. (Две статьи). Переиздано нашим магазином с издания Братьев Башмаковых, М. 1915. 61 стр. 1.00
10. ГУМИЛЕВ Н.С. — Собрание сочинений, в 4 тт. под ред. проф. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Том 1 — РАСПРОДАН.
11. — То же. Том 2 — Стихи 1916-1921 гг. и стихи разных лет. (Костер. Огненный столп. Шатер. Фарфоровый павильон. Поэмы.) 7.50
12. — То же. Том 3 — Драматические произведения (Дон-Жуан в Египте. Актеон. Игра. Гондла. Дитя Аллаха. Отравленная туника и стихи разных лет). Вступит. статья проф. М.Сечкарева. 7.50
13. — То же. Том 4 — Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи. «Записки кавалериста». Вступительная статья В.В.Вейдле. 8.00

13 а. ЗЛОБИН В. — Тяжелая душа (О З.Гиппиус). 143 стр. 2.50

14. ЕФРЕМОВ В.Н. — Очерки по истории русской литературы XIX в. 351 стр. 4.00

15. ИВАНОВ В. и ГЕРШЕНЗОН М. — Переписка из двух углов. Издание РАСПРОДАНО.

16. ИВАСК Ю. — Хвала. Стихи. 61 стр. 1.50

17. КАНЕВСКИЙ Д. — На Запад, повесть. 178 стр. 2.00

18. КЛИМОВ Е. — Русские женщины по изображениям русских художников. (Доклад, прочитанный в Джорджтаунском университете, по приглашению нашего магазина). 35 стр. с иллюстр. 1.00

19. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ В. — Поздний гость. Стихи. Том 1. 234 стр. 3.50

20. — Том 2 — Поэмы, драматич. поэмы. 271 стр. 3.50

21. КТОРОВА Алла — Лицо Жар-Птицы (Очерки неоконченного антиромана). 213 стр. 3.00

22. КОРН Давид — Русский глагол. С предисловием проф. Д.Д.Григорьева. (С русско-англ. и англо-русским словарем). Более 3.000 глаголов. 277 стр. 4.50

23. КУЗНЕЦОВА Галина — Грасский дневник (О И.А.Бунине). 315 стр. 4.50

24. ЛАХМАН Гизелла — Зеркала. 2-ая книга стихов. 74 стр. 1.50

25. ЛЕГКАЯ Ираида — Попутный ветер. Стихи. 61 стр. 2.00

26. ЛУКАШ Иван — Бедная любовь Мусоргского, роман. 193 стр. 3.00

27. МОРТ Виктор — Хэппи энд (невыдуманные рассказы). 185 стр. 3.00

28. МОРШЕН Николай — Двоеточие. Стихи. 70 стр. 1.75

29. ОДОЕВЦЕВА Ирина — На берегах Невы. Воспоминания. (Н.Гумилев, В.Иванов, Ф.Сологуб, А.Ф.Кони и др.) 7.50

30. ПЕТРОВ В.П. — Албазинцы в Китае. Историческая справка. 45 стр. 0.50

31. — Китайские рассказы. 58 стр. 1.00

32. — Российская Духовная Миссия в Китае (Расширенный доклад, прочитанный в нашем магазине). 96 стр. 2.00

33. — Сага форта Росс. Историч. роман, кн. 1. 190 стр. 1.85

34. — То же. Книга 2. 182 стр. 1.85

35. РОБСМАН Виктор — Рассказы и очерки. С предисловием др. В.В.Гзовского. 148 стр. 1.50

36. СЕВЕРЯНИН Игорь — Собрание поэз в 4 томах Переиздание.
Том 1 — Громокипящий кубок. 202 стр. 2.50

37. — » 2 — Златолира. 215 стр. 2.50

38. — » 3 — Ананасы в шампанском. 147 стр. 1.75

39. — » 4 — 147 стр. 1.75

40. СЕЛЕГЕНЬ Галина — Прехитрая вязь. (Символизм в русской прозе: «Мелкий бес» Федора Сологуба). 222 стр. 3.00

41. СОДРУЖЕСТВО. Из современной поэзии Русского Зарубежья. Сборник, в который вошли стихотворения 75 эмигрантских поэтов. С отделом «Поэты о себе». 559 стр. (в твердом перепл.). 5.00 6.00

42. СОЛОВЬЕВ Всеволод — Хроника четырех поколений. Историч. романы. — Сергей Горбатов, кн. 1. 329 стр. 2.25

43. — То же, » 2. 258 » 2.25

44. — Вольтерьянец, » 1. 251 » 2.50

45. — То же. » 2. 244 » 2.50

46. — Старый Дом, » 1. 254 » 3.00

47. — То же, » 2. 268 » 3.00

48. — Изгнанник, » 1. 251 » 3.00

49. — То же, » 2. 244 » 3.00

50. — Последние Горбатовы, » 1. 174 » 2.50

51. — То же, » 2. 276 » 3.00

52. СОЛОГУБ Федор — Одна любовь. Стихи. 54 стр. 1.00

53. СТОЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА ПРИХОДА РУССКИХ ЭСКАДР В США. Статьи: В.П.Петрова, А.Г.Тарсаидзе, А. Долгополова. 84 стр. с иллюстр. 1.50

54. ТЕРАПИАНО Юрий — Избранные стихи. 110 стр. 1.50

55. УЛЬЯНОВ Николай — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. (Доклад, прочитанный в нашем магазине). 32 стр. 1.00

56. ФЕДОРОВА Нина — Жизнь, роман в 3 книгах. Кн. 1. 204 стр. 2.50

57. — То же, » 2. 217 » 2.50

58. — То же, » 3. 243 » 2.50

59. ФЕСЕНКО Т. — Глазами туриста. Европейские впечатления. 142 стр. 2.00

60. ФИЛИППОВ Б.А. — Кресты и перекрестки. Очерки и рассказы. 160 стр. 1.50

61. ШИПОВНИКОВ М. — Из чащи промелькнувших лет. Стихи. 66 стр. 2.00

62. — Почти автобиография. Стихи. 70 стр. 2.00

## ИЗДАНИЯ, ПЕРЕШЕДШИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ НАШЕГО МАГАЗИНА

63. БЕРТЕНСОН С. — Вокруг искусства. Холливуд. 1957. 413 стр. 3.00

64. ТИМИРЕВ С.Н. — Воспоминания морского офицера. Балтийский флот во время войны и революции 1914-1918. Нью-Йорк. 172 стр. 3.00

65. ЧЕРНОВ А. (составитель) — Народные русские песни и романсы, собранные и изданные А.Черновым, в 2 томах. С нотами начальных мотивов песен. Красивый переплет с тиснением. 2 тома. 7.00

## ПЕЧАТАЮТСЯ

В.Б. ФИЛИМОНОВ. — Конец Белого Приморья.